

Анастасия АСТАФЬЕВА

СТОЛЕТНИК С МЁДОМ

Посвящается Зине, с любовью и благодарностью

Я опять не могу уснуть. Лежу, закрывшись с головой, под тоненьким байковым одеялом и дрожу. Но мне не холодно, нет, печи натоплены жарко, и в нашей комнате тепло. Мне страшно, потому что я слышу знакомый шорох и возню, а потом и крадущийся цокоток мерзких лап. Я боюсь даже шелохнуться на своей кровати, потому что пружины подо мной заскрипят, и мне всё кажется, что ужасные эти животные тут же прибегут на звук, запрыгнут на постель и искусают меня. Я плачу от страха и отвращения и пошевелиться не могу.

Девчонки дрыхнут, им хоть бы что! Сонька вообще смеётся надо мной. Она этих крыс выслеживает, как кошка. Сначала прислушивается, и тогда кажется, что её уши шевелятся, потом неслышно сползает с кровати и на четвереньках крадёт к углу за печкой: там самые большие норы, сколько их ни забивали железом, крысы всё равно прогрызают. Чёрные Сонькины глаза при этом начинают посверкивать хищным огнём, она докрадывается до угла, мы, с ногами сидящие на кроватях, замираем, затаив дыхание, и... девчонка вскакивает с диким воплем и бросает за печку берёзовое полено. Мы тоже дружно визжим от восторга. Однако крысам наплевать на Сонькины охотничьи инстинкты, и они наглеют всё больше и больше. Особенно по ночам: ходят по столам, по тумбочкам.

Как-то приезжали два дядьки из санитарной станции, рассыпали по всему зданию яд, точнее, зёрнышки отравленные. И что? И ничего! Крысы плевать хотели на отраву. Зато у Вали и у Тони сразу случилось обострение, они стали задыхаться. Врачи переполошились, переругались, а санитарку тётю Машу заставили выметать зёрна из нашей палаты, потом всё вымывать. Она надраивала пол и ворчала на главврача Геннадия Петровича, мол, чурбан нетёсаный, как не понимает, что нельзя яду в палаты к астматикам. Она в очередной раз позвала своего мужа-плотника, который пришёл, как всегда, податый, принёс большущий лист железа, проколотил за печкой весь угол, потом показал нам «козу», подмигнул красными слезящимися глазами и сказал:

— Ну что, ссыкухи, понаставить вам капканов? Так ведь сами же ночью и залезете! — почесал под шапкой голову и продолжил: — Крыса тварь умная, чего её бояться. Вы ей корочек наложите к норке-то, она и не станет шастать по столам. А так не отвадишь её, не-е...

Он снова почесал голову, махнул рукой, собрал инструменты и ушёл. А через два дня крысы прогрызли нору в другом углу.

Плотник у нас хороший, поэтому его даже за пьянку не увольняют. Он, кроме всего, ещё обихаживает лошадь, на которой доставляет продукты и разные товары для нашего лечебного учреждения. Лошадь старая, списанная с фермы, рассказывали, что когда её привели, она была тощая и больная, но Иван Семёнович её вылечил, откормил. В особенно сырую или холодную погоду он возит ребят помладше в школу. Мы уже взрослые — шестиклассники, поэтому топаем пешком в большой соседний посёлок за полтора километра. Там есть и магазины, и железнодорожная станция, и Дом культуры, и всё, что нужно.

«Санаторий» — как мы сами и жители посёлка и в шутку, и всерьёз называем наш лёгочный диспансер-профилакторий, специально расположен в лесной зоне, в сосновом бору, чтобы воздух был чистый, хвойный, для таких больных это важно. Тут все с

плохими дышалками. У меня, например, затемнение лёгких. Сделали флюорографию и обнаружили, и отправили сюда, а потому в шестой класс я пошла уже здесь. Лечение длительное, у кого-то полгода, у кого и дольше. Живём, как в интернате. На полном государственном обеспечении. Только нам ещё проводят разные процедуры, уколы колют, капельницы ставят, таблетки дают, витамины. Недавно я была на осенних каникулах дома, как и другие ребята. Но началась вторая четверть, и все вернулись. За три с лишним месяца уже вроде и привыкла, с девчонками весело, правда, иногда сильно скучаю по маме, она редко меня навещает.

Но ведь к другим родители и вовсе не ездят. Соня вот — цыганка, её год назад привезли сюда всем табором и оставили. Больше её никто не навещал, и ходят разговоры, что Соньку будут оформлять в детский дом. Сонька хитрая и злая, но с ней интересно, она то песни поёт, то пляшет, и с мальчишками дерётся по-настоящему, нас в обиду не даёт.

Валя — тихоня, она на год старше нас троих и учится в седьмом, от неё, бывает, за целый день слова не добьёшься, зато она отличница и умеет вязать красивые вещи. Болеет она хуже всех, часто задыхается и худющая вся, аж страшно, ест плохо, и тётя Маша её жалеет, носит специально молока. Валя молоко не пьёт, отдаёт нам.

Тонька с нами только месяц, её привезли уже ко второй четверти. Она болтушка страшная, утверждает, что папа у неё большой начальник, что у них огромная квартира с коврами и вазами, завтракает она одними пирожными и мороженым, а в школу её возят на машине. Здорово! Мы ей завидуем потихоньку, только странно, как она из областного города, от папы-начальника в такой дальний глухой лесной угол угодила. Могли бы её куда-нибудь на юг отправить. При этом Тонька всегда неопрятная, сопливая, растрёпанная — совсем не похожа на городскую.

Вот и все мои подружки. Палата у нас маленькая, зато в ней теплее и суше, чем в остальных. Ещё на нашем первом этаже столовая и актовъ зал, ещё палаты малышни.

На втором живут старшеклассницы и мальчишки. Девки там вредные, заставляют нас прибираться и дежурить за них в столовой. Сами же только хихикают и все до единой влюблены в Витьку Колесова. Он самый взрослый, учится в десятом классе, он, конечно, очень симпатичный, светленький такой, глаза синие, курит втихаря, хоть строго запрещено, не вылечится.

Вообще мальчишек в санатории всего семь человек, живут они все вместе в большой комнате и часто дерутся.

Тихо стало. Крыс не слышно. Я осторожно выглядываю из-под одеяла, темнотища, хоть глаз коли. Девчонки сопят. Я вслушиваюсь в звуки спящего санатория: где-то хлопает дверь и кто-то, кашляя, идёт по коридору. Скрипят пружины — Валя ворочается, всегда плохо спит. Соня вскрикивает во сне, и опять всё стихает. Я начинаю думать, что скоро Новый год, и к воскресенью Иван Семёнович принесет ёлку, будем все дружно её украшать, клеить игрушки и рисовать флажки. Ещё хочется, чтобы приехала мама, перед глазами возникает её лицо, улыбается, говорит что-то, и это уже сон...

* * *

Как же обидно вставать зимой рано! Темнота за окном совсем ещё ночная, комната выстыла, одежда холодная, греем её под одеялами и додрёмываем последние сладкие минутки. Но нянечки спать не дают, гонят в умывальник, потом на завтрак и на процедуры.

В полусне глотаем пресную тёплую кашу, терпеливо сносим уколы, хватаем портфели и на улицу, а там вьюжит, темь непроглядная, только едва угадывается над лесом свечение от огней посёлка, где школа. Страшно идти, холодно, но мы с девчонками стараемся хохотать, бегаем друг за дружкой, лупим портфелями по спине.

— А ну, малявки, с дороги! — слышится за спиной басовитый голос Витьки. Мы расступаемся к обочинам, в сугробы, хотя путь широкий и парень мог бы нас спокойно обойти. Ну да ведь надо повыпендриваться! Витька не один, как всегда, с девчонкой, но сегодня мы удивлённо переглядываемся, потому что он не с Верой Поповой, а с другой, новой подружкой. Парочка удаляется, и мы сбиваемся в стайку и шепчемся.

— Это кто с ним? — возбуждённо спрашивает Тонька. — Я её не узнала!

— Да что ж Натаха Горохова! — догадывается Сонька. — Её пальто и шапка!

— Какой противный этот Витька, — ворчу я, — вот поэтому Вера вчера и плакала! Веру на такую лахудру променял!

Валя просто вздыхает, словно подтверждая мои слова. Но тут из темноты возникает одинокая фигура, мы узнаём покинутую Витькой подружку и смолкаем, снова расступаемся и пропускаем её.

— Чего, девочки, стоите? — деланно весёлым голосом спрашивает Вера. — Опоздаете. Пойдёмте вместе, вместе быстрее.

Мы обступаем её и идём рядом, храня торжественное молчание, нам приятно даже, что именно нам сейчас выпало поддерживать хорошего человека в беде.

— Вы чего сегодня такие тихие? — удивляется Вера. — Замерзли, что ли?

— Мы ему кнопок на стул насыплем, или лучше чернил нальём, — вдруг сбивчиво заговаривает Сонька, — чтобы он свои штаны модные испортил!

— Ты совсем того? — шепчу я ей на ухо и кручу у виска, но всё уже испорчено.

Вера съёживается, нарочная улыбка сползает с её лица, она тихо говорит:

— Не надо ничего... всё правильно... — и прибавляет шаг, она уже не хочет, чтобы кто-то был рядом.

— Курица безмозглая! — колочу я Соньку портфелем куда попало. Цыганка отбивается и тоже обзывает меня. Валя с Тоней растаскивают нас, но я не сдаюсь. — Язык за зубами учись держать! Тебя бы так!

— Девочки, опоздаем, — слышится надо всем тихий Валин голос, и он словно приводит нас в чувство.

Я поправляю взъерошенное пальто, отряхиваю с него снег, Сонька нахлобучивает на голову упавшую шапку, но идём мы уже по разные стороны дороги. Я принципиально первая разговаривать не стану, да и Сонька тоже. Мирить нас будут девочки.

Из-за всей этой возни мы забегаем в школу, когда уже звенит звонок на первый урок. Учительница недовольно поглядывает на нас, но ничего не говорит. Если бы мы жили в посёлке, то за опоздание она бы на урок не пустила. Но мы интернатские, и кое-какие проделки сходят нам с рук. Поселковые ребята за это нас недолюбливают, называют «дохлыми».

Сегодня контрольная по математике. Мне достаётся противный второй вариант. Отчего-то первый я всегда знаю, как решать, а мне попадаетея всё самое сложное и непонятное. Оглядываюсь вопросительно на одноклассников, может, даст кто списать? Но ничей взгляд поймать не удаётся, э-эх... Никаких надежд...

С горем пополам решаю уравнения, но задачка не даётся. В досаде тискаю в пальцах деревянную перьевую ручку, задумчиво болтаю ею в полупустой чернильнице-непроливайке, снова оглядываюсь в надежде на класс. Все в напряжении склонились над тетрадями, решают. Полугодовая контрольная, а я как ворона!

Неожиданно из-за моего правого плеча на парту прямо передо мной падает скотканый клочок бумаги. Я быстро разворачиваю его и даже задыхаюсь от радости — там решённая задача и все примеры. Благодарно оборачиваюсь, но класс по-прежнему таинственно тих и сосредоточен. Замечаю, что почерк на листке не знакомый. А-а, какая разница, лишь бы решить. Я спешно списываю, сверяю со шпаргалкой уже решённые уравнения, два моих оказываются неправильными, я исправляю их и закрываю тетрадь как раз перед самым звонком. Успела!

Уже когда я выбегаю из класса на перемену, в дверях меня толкает одноклассник Толик Кузнецов и загадочно подмигивает. Толик не наш, не санаторский. Он живет в посёлке, с мамой и бабушкой. Я показываю ему язык.

А через два дня, довольная, сижу на уроке алгебры, жду, когда учительница объявит оценки, а среди них и мою пятёрку.

— Контрольную написали неплохо, — начинает та, — троек немного. Но особенно отличились у нас Зеленина и Кузнецов, — при этих словах учительницы я расплываюсь в улыбке, а она продолжает: — У обоих по жи-ирной двойке! Не знаю, кто у кого списывал, только ошибки один в один...

Я чувствую, как кровь приливает к моей голове, в горле закипают слёзы. Класс ржёт, а я готова убить Толика на месте. Оборачиваюсь и грожу ему кулаком, но у парня такой искренне сконфуженный вид, что я теряюсь.

После уроков мы с ним сидим в разных углах класса и перерешиваем контрольную. Теперь мне попался первый вариант, его я способна сделать сама, но мне обидно, что давно кончились уроки, а я всё сижу в школе, за окном валит снег, скоро стемнеет, и мне обратно придется идти одной через лес. Я опоздаю на обед и останусь голодной. А ещё все ребята целый день подшучивали надо мной, намекали, что мы с Кузнецовым «два сапога — пара».

Я сдаю учительнице тетрадь. Она при мне проверяет решение, согласно кивая себе головой, ставит четвёрку. Я забираю в раздевалке пальто, на ходу натягиваю на голову вязаную шапочку и бреду под снегом к санаторию. Наверное, со стороны я похожу на снеговика, так меня залепило мокрыми хлопьями. Оттепель. Чувствую, как намокают подошвы валенок, а значит, скоро сырые ноги замёрзнут. Как же всё это обидно! Вытираю набегающие на глаза слёзы холодной варежкой.

День такой серый, что непонятно, сумерки уже или нет. Лес влажно шумит. На самой верхушке высоченной ели рассерженно каркает ворона, и крик её такой противный, что мне хочется кинуть в неё снежком.

— Таня, подожди! — меня догоняет Толик. — Я тебя провожу.
 — Нужен ты мне! — обиженно говорю я. — Уйди!
 — Не сердись. Я не специально. Я думал, что правильно сделал...
 — Ты уйдешь или нет?! — замахиваюсь на него портфелем. Мальчишка останавливается в двух метрах от меня. Невысокий, щупленький, куртка на нём распахнута, шапку он мнёт в руках, свитерок и тёмные волосы залеплены снегом, и мне на секунду становится его жалко, от этого я снова замахиваюсь портфелем и ору: — Вот только по-дойди!
 — И подойду! — задиристо выкрикивает Толик, подскакивает ко мне, толкает в сугроб и удирает.
 Я сижу в сугробе и кричу со слезами ему вслед:
 — Дурак!

* * *

А в санатории пахнет ёлкой. Тёмно-зелёное пушисто-колючее дерево с влажными от растаявшего снега хвойными лапами стоит посреди актового зала. Иван Семёнович незлобиво ругается на малышку, которая топчется вокруг ёлки и мешая тёте Маше убирать насыпавшиеся на пол иголки и обломанные веточки.

— Ребята, ребята, — хлопает в ладоши зашедшая в зал воспитательница, — не хулиганьте! Идите по комнатам и придумывайте, какие будете делать игрушки, фонарики. Цветную бумагу и клей я сейчас принесу... Таня! — замечает она меня. — Ты где так долго пропала? Тебя мать уже больше часа дожидается.

Я бегу в палату. Мама прямо в пальто, со спущенным с головы на плечи платком сидит на моей кровати, вид у неё усталый, и она не улыбается, увидев меня. Девчонки за большим столом у окна делают уроки, поглядывают в мою сторону.

— Много двоек нахватала? — строго спрашивает мама.

— Я исправила уже... — отвечаю тихо и стою около кровати, не смея подойти к матери и обнять её. С досадой кошусь на девок, выдали, наверняка Тонька.

— Не получай, так и исправлять не придется... Ну ладно, сядь, — уже спокойнее говорит мама. — Бабушка тут тебе гостинцев прислала, — она выкладывает на тумбочку завёрнутые в бумагу пирожки, кулёк пряников, несколько яблок. — Валенки-то мокрые совсем, к печке поставь, да снимай скорее! — я послушно выполняю её указания и снова сажусь рядом. — Ешь пирожки-то, только сегодня пекли. Да девочкам дай.

Пирожки с капустой, самые мои любимые. Небольшие, зажаристые, такие только бабушка умеет печь. Я голодная и уплетаю сразу три штуки, осторожно прижимаюсь к маме. Она чуть приобнимает меня за плечи.

— Как ты тут? Соскучилась?

Я киваю согласно.

— Я уж теперь нес скоро приеду, так что с Новым годом тебя заранее поздравляю, — мама молчит, какое-то время мы сидим обнявшись. — Долго прождала тебя, скоро обратная электричка, а ещё до станции идти... Пойдём, проводишь меня немного. Ай, да валенки у тебя сырые.

— Я дам ей валенки, — поспешно скидывает с ног свои Сонька. Ясно, подлизаться хочет, но выбора нет, я надеваю их и иду с мамой на улицу.

Снег перестал валить, а деревья зашумели ещё сильнее. Совсем стемнело, и мне жалко маму, которой надо идти одной через лес, но она не берёт меня с собой.

— Девочки там, а я сказать тебе хотела. Приедешь на новогодние каникулы, я тебя не одна встречать буду, а с папой. Папа у тебя теперь будет, дядя Саша...

Я оглушённо стою и смотрю на мать, не понимая её слов.

— Зачем нам папа? — спрашиваю глупо.

— Что значит зачем? — сердито говорит она. — Я замуж вышла. Значит, у тебя теперь папа будет.

— Но папа же умер! — кричу я ей и отступаю назад, ожидая оплеухи.

— А я живая! — тоже кричит мама. — И ты, пока здесь, привыкни к тому, что у нас будет теперь новый папа!

— Не надо мне никакого папы! — я отступаю ещё и, спотыкаясь о крыльцо, падаю на него. — А я как же? Ты меня не любишь!

— Да кто тебе такую ерунду сказал?! Люблю, — мама делает шаг мне навстречу, но я вскакиваю и отбегаю в сторону.

— Нет! Ты не выйдешь замуж! Нет! Мы вместе будем жить. Вдвоём только!

— Да что же это такое! — всплёскивает мама руками и вдруг плачет. Это настолько удивляет меня, что я теряюсь. Я ещё никогда в жизни не видела маму плачущей. Я даже представить не могла, что она умеет плакать, просто не думала об этом. Я тоже начинаю реветь. И вот мы стоим друг против друга, едва различая лица в скудном свете, отбра-

сываемом окнами санатория.

— Иди ко мне, — говорит, наконец, мама, но я набычилась и не подхожу к ней.

— И на каникулы не приеду, — бурчу себе под нос, — у нас тут многие ребята остаются...

— Что? — переспрашивает она.

— И на каникулы не приеду! — повторяю я громче.

— Ну и не приезжай, — неожиданно спокойно говорит мама. — Можешь вообще не приезжать.

С этими словами она быстро разворачивается и уходит. А я стою под ночным небом и вою. Какой ужасный день! Как всё плохо! Падаю в сугроб, лицо на секунду обжигает холодом, но я почти не замечаю этого, реву и реву.

— Это чего же теперь, замерзнуть, что ли, решила? — Иван Семёнович пытается поднять меня, но я сопротивляюсь. — Давай, давай. Не дури, — он ставит меня на ноги, отряхивает большой рукавицей снег, вытирает тёплой ладонью лицо. — Такая красавица и плачет тут одна. Глазки свои голубенькие успеешь ещё за жизнь выплакать... С матерью поругалась? Разве можно с матерью ругаться. Это уж никак не положено. Пойдём-ка. Вон Маруся моя нас дожидается. Все вместе и пойдём. В гости к нам...

Действительно, около крыльца стоит тётя Маша. Она ласково смотрит на меня, застёгивает пальто, затягивает под воротником шарф, гладит меня по волосам:

— Головушка-то у тебя шелковистая какая, кудряшки, словно у куколки... На воскресенье в гости к нам пойдёшь? Я уже и воспитателя предупредила.

Я киваю согласно.

* * *

У стариков на окраине посёлка маленькая избушка. Громким мяуканьем встречает нас у калитки пушистая чёрная кошка, соскучилась за день по хозяевам. В низких сенях пахнет коровой, слышно, как она шевелится и вздыхает в хлеву за стеной.

Дом выстыл за день, и Иван Семёнович сразу приносит дров и затапливает круглую печку, та быстро прогреется. Я уже привыкла в санатории, что именно он топит там все печи, но только сейчас поняла, сколько же ему приходится за день переколоть и перетаскать на себе дров, и никогда-то он не пожалеет лишнего поленца подбросить, чтобы нам было тепло.

Тётя Маша помогает мне раздеться, вешает пальто к русской печи и ставит туда же валенки, чтобы нагрелись, а мне на ноги даёт другие, мягкие и лёгкие, совсем не такие грубые, как у всех санаторских. Потом показывает мне, где вымыть руки, и я громко брякну умывальником, пока хозяйка собирает на стол. Она достаёт из русской печи чугунок со щами, режет хлеб. Иван Семёнович снова ушёл куда-то, но я стесняюсь спросить.

— Садись к столу, сейчас сам придет, корову он доит, — словно угадав мои мысли, говорит тётя Маша.

— Иван Семёнович — корову? — широко раскрываю я глаза от удивления.

— А что? — смеётся она. — Наша Малинка меня и близко не подпустит, к одним рукам привыкла. Я как-то в больницу попала, долго пролежала. Самому и пришлось её раздаивать. С тех пор он у меня главный дояр.

Глаза женщины улыбаются, и я вдруг замечаю, что она вовсе не старая, какой казалась мне в санатории, всегда в тёмно-синем халате, в платке, со шваброй или метлой. Сейчас на ней цветное платье, волосы собраны на затылке и заколоты гребёнкой. И избушка у них нарядная, половики яркие, весёлые, занавесочки вышитые, кровать высокая с тремя подушками, одна из которых стоит на двух лежащих и накрыта кружевной накидкой. Радиоприёмник на стене над комодом едва слышно бубнит что-то, а рядом, на стене же, собранные в одной большой рамке фотографии.

— Можно посмотреть? — спрашиваю я и тихонько подхожу к ним.

— Это мы на пару с самим, молодые, только поженились, — показывает на фотокарточки тётя Маша. — Это вот мама моя, видишь, какая фотка старая, жёлтая вся. Это брат мой, на фронте погиб... Это сын наш Вася, он в Заполярье живёт, работает там. Это он на флоте когда служил. А тут он уже с женой, с внуками... Внуки-то теперь большие уж, как ты, поди, а тут карапузы совсем. Летом приедут на каникулы...

Хлопнула дверь в избу, Иван Семёнович вернулся с подойником:

— Запускается Малинка, всего-то литра два надоила. Ну да гостью напоить хватит, — он весело подмигивает мне.

Едим домашние ароматные щи, я уж и забыла с этой больничной едой вкус домашней стряпни. В нашей столовой всё какое-то пресное, пустое. Я выпиваю ещё две кружки парного молока с хлебом, и после сытного ужина меня неудержимо начинает клонить в сон. Мне уже кажется, что я дома, и лицо тёти Маши на мгновение становится

лицом моей бабушки.

— Красавица-то наша никак спит? — усмехается Иван Семёнович.

Я пытаюсь стряхнуть с себя сонливость, но хозяйка велит мне лезть на печку и спать сладко-сладко.

Я начинаю раздеваться и только тут замечаю, что до сих пор в школьной форме, при пионерском галстуке. Забираюсь на печь, меня укрывают, и, уже засыпая, я припоминаю все неприятности, произошедшие со мной за день. Становится тоскливо, пара слезинок скатывается из-под закрытых век на подушку, я шмыгаю носом и вздыхаю, наверное, так же тяжело и громко, как корова Малинка в своём холодном хлеву, где закуржавели стены, оттаивающие после морозов.

Посреди ночи я просыпаюсь от какой-то неясной тревоги. Слышится негромкий храп, в избе темно, но когда глаза привыкают, я различаю робкий свет, осторожно выглядываю из-за печной трубы и вижу тётю Машу, которая стоит на коленях рядом с комодом. На нём, перед небольшой иконой, горит тоненькая свечка. Тётя Маша шепчет что-то очень тихо, часто крестится и иногда склоняется к полу в поклоне. Я хорошо помню, что ни иконы, ни свечки до этого на комоду не было. Мне становится совсем жутко, и мелкая дрожь пробивает всё тело.

Видимо, почувствовав мой взгляд, женщина оглядывается, смотрит чуть растерянно, а потом тихо зовёт меня к себе. Не чуя под собой ног, я медленно сползаю с печи и подхожу к ней.

— Ты испугалась чего? Или на двор захотела? — спрашивает она шёпотом.

— Нет, — тоже шёпотом отвечаю я. — Это вы зачем? — показываю глазами на икону.

— Здравья у Бога прошу для всех родных...

— Так ведь его же нет? — неуверенно перебиваю я.

Тётя Маша теряется, не зная, что мне ответить, с трудом поднимается с затекших колен:

— Кто ж знает-то...

— Нам в школе всё время говорят.

— И они не знают... Бабушка твоя разве не молится никогда?

— Бабушка моя завучем в школе работает, — гордо отвечаю я, — у неё в кабинете портрет Ленина висит, и дома тоже.

Тётя Маша смотрит на меня грустно:

— Ты не говори никому, ладно? Чего я, старая, глупая, неграмотная почти... Мой-то тоже ругает меня когда... — она мелко крестится, шепчет: — Господи, спаси и помилуй.

— Гасит пальцами свечу и включает ночничок. Снова крестится и прячет икону в ящик комода под одежду. Я отчего-то опять начинаю дрожать. — Попить хочешь? — чуть заискивающе спрашивает тётя Маша. — А то вон на ведро сходи, да ложись спи спокойно дальше, до утра ещё долго, ночь-полночь...

После этого я не сразу засыпаю. Сначала мне хочется прямо сейчас сбежать обратно в санаторий, потому что очень страшно, потом я успокаиваюсь немного, думаю, что и вправду тётя Маша неграмотная, поэтому верит в Бога. А в общем она очень хорошая и добрая женщина. Я, конечно, никому не выдам её тайны, но принимаю решение больше сюда в гости не ходить.

* * *

Крысы совсем обнаглели, скребутся уже и днём, когда мы делаем уроки. Бесстрашная Сонька снова устраивает охоту на них, кладёт к норе засохший кусочек хлеба и терпеливо стоит около, ждёт, когда высунется серая мордочка. Полено потяжелее у неё наготове. Обладевшая от аппетитного запаха крыса забывает об осторожности и выползает полностью, меткий Сонькин бросок оглушает её. Юная охотница восторженно вскрикивает и тащит обвисшую тушку за хвост, показать нам. Мы визжим на всё двухэтажное здание.

— Да она же дохлая! Чего боитесь?!

Но в этот момент крыса вдруг оживает, непонятным образом выворачивается и кусает Соньку за палец, от неожиданности та выпускает её, и, перепуганная не меньше нашего, крыса мечется по комнате в поисках спасительной норы.

Я на грани обморока. Тонька и Валя, стоя на стульях, кидают в крысу валенками, не попадают, конечно, а Сонька хохочет, не обращая внимания на свой окровавленный палец.

— А вдруг она заразная? — обеспокоенно говорит Валя, когда всё стихает. — Тебе надо срочно делать укол от столбняка.

— Ерунда какая, — отмахивается Сонька и слизывает кровь с пальца.

— Чокнутая! — вскрикиваем мы в один голос. — Быстро к медсестре иди!

— Не пойду! — настораживается та. — Само заживёт.
— Тебе говорят — заражение может быть!
— Не пойду! — чуть не ревет Сонька. — Она йодом мазать будет, а я йоду боюсь, он щиплется!

Ташим упирающуюся подружку к медсестре. Сонька всерьёз умоляет её отпустить, но врачиха, узнав, что случилось, начинает её стращать:

— Если укол не сделать, случится столбняк, и будешь стоять, как дерево! А Новый год скоро. Все конфеты лопать будут, а ты только смотреть на них! Обидно? Обидно.

Сонька зажмуривается и сжимает губы, когда медсестра делает ей укол, а потом обрабатывает укус йодом и бинтует палец. Перетерпев боль, девчонка открывает глаза, подмигивает нам и шепчет:

— И не больно совсем. Терпеть можно!

— А ты, оказывается, трусиха! — шепчем мы ей в ответ.

— Не-ет, — тянет она, — я ничего не боюсь. Теперь и йода не боюсь. Меня никогда им не мазали, говорили, что щиплетя. А он почти и не щиплетя, чуть-чуть только.

Соньке после укола надо полежать. Валя читает нам вслух биологию, у них по программе кровообращение птиц. Это очень нудно и неинтересно, только зубрёжкой можно взять, откуда и куда что вытекает и втекает, куда несёт кислород и где он вдруг превращается в углекислый газ, да ещё всякие питательные вещества, камеры сердца, желудочки и прочая дребедень.

— Зачем только в природе существуют всякие противные животные? — задумчиво спрашиваю я. — Всякие пауки и змеи, крысы и мыши, ещё и лягушки, и крокодилы. Кошмар! Как бы без них было хорошо.

— Пауки ловят мух, — резонно замечает Валя.

— Мухи тоже противные, но пауки — хуже, — не соглашаюсь я. — А кого ловят крысы?

— Их самих ловят. Лягушек едят цапли... Все зачем-то нужны.

И тут я решаю спросить девчонок о том, что мучает меня много дней:

— А вот некоторые люди считают, что всё существующее на земле, все растения и животных, и человека, конечно, создал Бог.

— Так ведь Бога же нет! — восклицает Тонька.

— Но ведь откуда-то взялся первый цветок, и первая муха, и первый человек. Как он родился? Ведь если он самый-самый первый, значит, до него никого не было, у него не может быть ни мамы, ни папы, а это невозможно.

Подружки тоже задумываются.

— У меня была прабабушка, старенькая совсем, — очень тихо рассказывает Валя, — она тоже говорила, что все к Богу придём. От него ушли, к нему и вернёмся. Говорила, что все мы от одного отца и матери — от Адама и Евы, поэтому мы все братья и сестры, а значит, все родные и подлости друг другу совершать не имеем права.

— Какие же мы сёстры? — смеется Тонька. — Сонька вон чёрная, как уголь, Таня — беленькая, ты, Валя, ни то, ни сё, серая какая-то...

— Русая я, — чуть обиженно вставляет та.

— Ладно, русая, — миролюбиво откликается Тонька. — А я и вовсе — рыжая. Вот так сестрёнки!

— А я вас всех люблю и вправду как сестрёнок, хотя мы все чужие, это почему? — снова говорит Валя.

— Просто мы подружки, живём вместе. По-другому бы, может, и не встретились никогда, и знать бы я не знала, что есть вы на свете.

— Вот и про это прабабушка тоже говорила, что Бог знает, каких людей вместе свети.

— Странно всё это, конечно, — встречаю я, — но уж лучше, чем если бы мы от обезьяны произошли. Обезьяны вон какие глупые.

— Чего головы забивать зря? — подаёт голос Сонька. — Живём, и хорошо, а кто кого родил, какая разница? Читай, Валя.

Валя читает, но я уже слушаю её невнимательно, припоминаю вдруг, хоть и смутно, как лет в пять бабушка, которая мамина мама, возила меня в какую-то глухую церковь. Там было темно и сыро. Попа, в чёрной одежде, старого, с жидкой спутанной бородой, я испугалась. Бабушка раздела меня до сорочки, сунула в руки горящую свечку. Воск с неё капал на пальцы, обжигал их, но выпустить свечку я боялась. Поп хриплым голосом бубнил что-то надо мной, поливал водой, мазал лоб, ладони и колени кисточкой с пахучим маслом, надел на шею алюминиевый крестик.

Когда другая бабушка, которая папина мама, та, которая работает завучем в школе, увидела на мне крестик, возмущению её не было предела. Она заставила тут же снять его с шеи и выбросить. Потом они ругались с той бабушкой, которая плакала и срамила

меня за то, что я бросила крестик. Я ничего не понимала и тоже ревела. Но бабушка, которая мамина мама, уже умерла. И больше никто никогда не разговаривал со мной о Боге, не возил в церковь, и крестик я с тех пор не ношу.

Ночью, ни с того ни с сего, Тонька вскакивает с кровати, зажигает свет. Мы недовольно просыпаемся.

— Смотрите, смотрите! — со страхом говорит она и показывает на свою постель. Сперва мы ничего не можем понять, но потом видим ровную круглую дырку на том месте, где лежала подушка. — Это я вчера утром из столовой кусочек колбасного сыра принесла, спрятала, — сознаётся Тонька.

— Опять втихаря съесть хотела? — укоряю я её.

— Да ладно уж... — бубнит она. — Уснуť не могу, думаю — поем, руку-то сую, а там!..

— Опять эти крысы. Да ровненько выели-то как! И в матрасе дыра, смотрите. Я теперь вообще спать не буду! — жужжим мы наперебой. — Кошку бы нам сюда.

— Какая кошка, — грустно возражает Валя, — я сразу задыхаться начну.

— А так как жить? — возмущению моему нет предела.

На следующий день Иван Семёнович принёс две крысоловки, поставил их в углы. Ни одна крыса туда так и не попала, но ходить они стали осторожнее и реже, хотя, может, нам и показалось.

* * *

Ждали-ждали мы Новый год, а вот он и пришёл. Валяемся на кроватях и сравниваем подарки, которые нам раздали за завтраком. Они совсем одинаковые. У всех по маленькой пачке печенья, по два яблока, по шоколадке и куча разных конфет: и леденцов, и карамелей, и батончиков! А у Соньки оказалось на две конфеты меньше, чем у остальных.

— Это ты слопала уже, пока из столовой шла! — хихикаю я.

— Неправда! — обижается она. — Это меня обманули, обсчитали!

— Иди к Геннадью Петровичу, — подкалываю я дальше, — права покачай!

— Да ну тебя!

— Девочки, вы опять ссоритесь, — тихо встревает Валя. — Ей и так обидно, а ты, Таня, ещё насмехаешься.

— И вовсе я не насмехаюсь! Я даже могу ей две свои конфеты отдать.

— А давайте свалим все подарки в кучу! — предлагает Валя. — Я, например, конфеты и вовсе не люблю.

Мы высыпаем сладости из пакетов на одну кровать и всё перемешиваем. Потом с закрытыми глазами выбираем по конфете.

— Тонька подглядывает! — кричу я, заметив подвох.

— Не ври! — отзывается та и поспешно засовывает вытянутый батончик в рот. — Подарки! — насмешливо кривится она и чешет подмышку. — Я такие подарки видала, а это!.. Мне на каждый Новый год огромную куклу дарят, в платье с кружевами, с косичками. Её даже причёсывать можно и переодевать. А яблок и мандаринов я даже есть не хочу, потому что ими весь дом завален, и у меня от них прыщи выскакивают. И в двенадцать часов меня спать не заставляют, я по телевизору Красную площадь смотрю и главную ёлку страны!..

— Ха-ха, — перебиваю я, — что же тебе твой папа куклу не привёз и мандаринов мешок?

— У него работа такая, ему некогда!

— Врёшь ты всё! — злюсь я. — Нет у тебя никакой квартиры, и кукол тоже нет. А может, даже и папы нет!

Тонька вспыхивает, молча ложится на свою кровать и отворачивается к стене.

В палате повисает тяжёлая тишина, и мне становится стыдно за свои слова. Я подхожу к Тоне и прошу у неё прощения, она долго сопит, а потом говорит, что привезёт фотографию, потому что ей никто не верит.

— Ладно, ладно. Верим мы тебе, — ободряюще говорю я. — Давайте лучше придумаем, как мы нарядимся вечером. Сегодня же танцы будут!

— Как тут нарядишься, — вздыхает Валя, — у всех по одному платью.

— Ничего! Мы дождик в косички вплетём, и на платья можно какие-нибудь блёстки пришить.

— А у меня, девчонки, настоящий цыганский наряд есть! — восторженно сверкает глазами Сонька. — Я его спрятала.

— Ух ты-ы! Думаешь, тебя не заругают? — спрашиваем мы в один голос.

— Нет, конечно! Это же Новый год, карнавал, вот я и наряжусь цыганкой и стан-

цию вам по-настоящему. Вы ещё и не представляете, как я могу! — от избытка чувств Сонька вскакивает в кровати и, поставив одну руку на бедро, другой начинает выписывать в воздухе какие-то невообразимые фигуры, потом, размахивая себе в такт полой тёмного санаторского халата, выплясывает, и так это легко и весело у неё получается, и так дерзко чёрные глаза её светятся, что мы тоже подпрыгиваем и хлопаем ей в такт. — Ой, всё! Вечером! Нарядиться надо. Надо, чтобы юбка длинная была, широкая, а так не получается!

Мы не просто так волнуемся перед вечером. Сегодня к нам на праздник должны прийти поселковые ребята и девочки. Нам очень хочется выглядеть не хуже их, и весь день мы выдумываем себе наряды, причёски, дурачимся и подрисовываем брови углём, чтобы были чёрные, как у Соньки. Хохочем друг над дружкой до колик в животе, но, видимо, создаём столько шуму, что приходит воспитательница и орёт на нас, чтобы мы успокоились, видит наши измазанные лица и возмущается:

— Это ещё чего придумали?! А ну, марш мыться!

Приходится идти в умывальник, тем более что видок у нас с этими чёрными бровями действительно очень глупый.

Народищу набилось в актёрский зал! Старшеклассницы кучкуются по углам, косятся на мальчишек, хихикают, на нас позыркивают. Малышня тут же толчётся, не выгнать, воспитатели уже отступились. Витька Колесов пластинками заведует, заводит модные песни, весь серьёзный такой, при деле. Натаха Горохова около него вьётся, на ухо что-то шепчет, парень сердится на неё, и нет-нет, а взглянет на Веру, которая с девочками в уголку стоит.

Поселковских ещё нет, они придут все сразу, большой кучей. Взрослые девки ждут парней, чтобы было с кем потанцевать, ведь одного Витьки на всех никак не хватит. К тому же Натаха от него всех девок отгоняет, как мух. С ней никто не связывается, она на язык острая, да и двинет — не задумается.

Соньки с нами нет, она придёт в своём наряде в самый разгар вечера, чтобы всех поразить. Мы боимся, что ей попадёт от главврача, но вместе с тем нас будоражит ожидание её появления.

Вдруг, словно из ниоткуда, в зале появляется Снегурочка. Десятки любопытных глаз устремляются в её сторону, малышня застывает в изумлении. Мы с Тонькой начинаем спорить, кто нарядился Снегурочкой. Мне кажется, что это девочка-старшеклассница, а она считает, что это воспитательница малолеток. Но внучка Деда Мороза зазывает всех в хоровод, и хотя взрослые девки хихикают и не хотят ходить вокруг ёлки, их тоже затаскивают в общую кутерьму. Все хором поют «В лесу родилась ёлочка», и это так смешно и глупо, что мы половину слов проглатываем вместе со смехом. Ещё бы, все в куче — и врачи, и воспитатели, и взрослые девицы, и малышня, даже сам главврач Геннадий Петрович, как чокнутые, ходят, взявшись за руки, и вразной поют детскую песенку. А когда в самый разгар этой затеи в зал вваливается толпа поселковских ребят, то становится ещё и стыдно. Они хохочут над нами, и хоровод тут же рассыпается.

Общее смущение проходит только после того, как Витька Колесов, сообразив, что нужно делать, заводит музыку. На первой песне все ещё жмутся у стен, но потом нашу воспитательницу приглашает главврач, и они танцуют парой. Глядя на них, ещё и ещё парочки начинают пританцовывать то тут, то там, и скоро все веселятся.

Пластинка заедает, Витька с деловым видом поправляет иглу и, отпихнув липнущую к нему Натаху, подходит к Вере, они коротко переговариваются, парень протягивает девушке руку, но та отталкивает её и уходит из зала. Витька не сразу, но идёт за ней, и, заметив такой поворот ситуации, Натаха с перекошенным лицом выбегает следом. Я боюсь, чтобы девочки не подрались, и хочу предупредить воспитательницу, но в самый неподходящий момент ко мне подходит смущённый Толик и зовёт танцевать.

— И всегда-то ты не вовремя! — ругаюсь на одноклассника. — Там сейчас, может, драка будет.

— Разберутся без тебя. Взрослые люди, — с серьёзным видом отвечает Толик. — Пойдём?

— Да отстань ты! — шутливо отпихиваю я ухажёра, хватаю за руку Тоньку, и мы танцуем с ней.

Толик остаётся один у стены, и по всему видно, что он не знает, куда себя теперь девать. Меня это забавляет, а подружка ещё поддаёт жару, шепчет на ухо:

— Танька, а, Танька, он что, влюбился, что ли, в тебя?

— Откуда я знаю! Дурачок какой-то! — отвечаю я со смехом, но сама чувствую, как от её смелого предположения у меня неожиданно замирает сердце. Я уже думаю, что песни через две, может, и соглашусь с ним потанцевать, но тут в зале происходит какое-то замешательство, музыка неожиданно обрывается и надо всем слышится рассерженный голос Геннадия Петровича:

— Это ещё что за маскарад?! Может, весь табор, вместе с медведем, приведёшь?

Я в ужасе понимаю, что пришла наша Сонька в своём цыганском наряде, и вижу, как главврач хватается её за руку и выволакивает из зала. Девчонка сопротивляется и кричит, что хотела всех удивить.

— Удивила! Вот так удивила! — возмущённо кричит на неё Геннадий Петрович. Дверь за ними захлопывается. Снова заводят музыку, танцы продолжают, но нам уже не до праздника. Втроём мы выскальзываем следом за главврачом и Сонькой. Её отчитывают в коридоре, она стоит, стиснув губы, в глазах блестят злые слезинки, но она не позволит себе плакать при Геннадии Петровиче. Около них всполошённо прыгает наша воспитательница.

— А вы-то как же не уследили? — переключается главврач на неё. — Позор какой, чему детей научим? Давайте ещё карты разведём, гадания всякие! — он снова поворачивается к Соньке. — Чтобы сейчас же переделась и сидела в комнате, ты наказана и в зале больше не появляйся, — уже уходя, главврач оборачивается и добавляет: — А скоро мы тебя в детдом определим, я уже договорился.

Воспитательница сердито трясёт Соньку за руку и громким шепотом ругает её, потом тащит за собой в палату. Когда она уходит, мы пробираемся туда. Сонька бьётся на кровати уже в халате, колотит кулачками по подушке:

— Уйду отсюда! Не пойду в детдом. Убегу! Всё равно убегу!.. Бродяжничать буду, скитаться, своих искать! Не пойду в детдом!..

Мы успокаиваем её, как можем. Нам страшно, что она и вправду убежит. Тонька пытается говорить о том, что не нужно было наряжаться, что мы предупреждали, но Валя вдруг зло взглядывает на неё, и Тонька затыкается.

Гордая цыганская девчонка выполнила своё обещание. Хватились её утром. Подняли на ноги весь посёлок, искали на станции. Потом уже, почти в сумерках, нашли в лесополосе за шоссе, километрах в пятнадцати от посёлка, съёжившуюся под деревом, припорошённую снегом, с заиндеветыми ресницами и бровями, замёрзшую до полусмерти. Она уже никого не узнавала, засыпала последним вечным сном, но когда её взял на руки местный охотник, очнулась на секунду, пробормотала что-то невнятное и обмякла.

В санатории тишина. Геннадий Петрович ходит бледный, насупившийся, ни с кем не разговаривает.

Сонька лежит в отдельном боксе, огороженном белыми ширмами, у неё обморожены руки и лицо, с них слезает отмирающая кожа. Нянечка дежурит около кровати и иногда допускает нас до пострадавшей подружки.

Сонька кривится в слабой улыбке, говорить не может, каждое движение доставляет ей мучения. Мы стоим рядышком, жалостливо смотрим на неё и поглаживаем через одеяло.

— А мы сегодня уже в школу ходили, каникулы-то закончились, — робко говорит Тонька, надо же что-то сказать.

— Учителя все о тебе спрашивают, — добавляю я.

— Мы тебе от завтраков яблоки собираем. Когда ты сможешь есть, у тебя их будет килограмма два, — всхлипывает Валя, только вчера вернувшаяся из дома. Новогодние каникулы, в отличие от нас с Тонькой, она провела с родными.

Сонька отрицательно мотает головой, мол, не нужно, ешьте сами, но глаза её светятся радостью и благодарностью. Наверное, ей нестерпимо больно, но какая же она отчаянная и терпеливая!

— Что-то вы совсем все расстроились, — миролюбиво гудит толстая нянечка. — Живая, слава те, скоро поправится, будете в школу бегать... Идите, поспать ей надо.

* * *

Без Соньки в нашей палате тишина и скука. Тонькины рассказы надоели. И воспитывать её мы тоже устали: грязнуля и неряха, а ещё городская! Кровать застелить ленился, комнату в свою очередь не подметает, зубы чистит, только если стоишь у неё над душой. Вечно растрёпанная и платье мятое. Противно смотреть!

Дни тянутся однообразные и тусклые. Расписание одно и то же: подъём, завтрак, процедуры, школа, обед, тихий час, уроки, процедуры, ужин, отбой. Правда, иногда, очень редко, в воскресенье после обеда, нас отпускают погулять в посёлок. И тогда мы бежим сначала в магазин и покупаем конфет и пряников, а потом в клуб на кино. Это, конечно, если есть денежки. Иногда хватается только на пряники. Иногда только на кино. Делим поровну. У Тоньки, например, при её папе-директоре, никогда ничего нет. Да и мне мама, давно ещё, оставила два рубля, и я их берегу, растягиваю. Мама ещё велела записывать на листочек, на что я потратила и что сколько стоит. А я не знаю — будет она ругаться, если я куплю лишний пряник или схожу в кино на один и тот же фильм

второй, а то и третий раз? Потому что приходится делиться с Тонькой, и я не понимаю — записывать на листочек, что это не я в кино ходила, а она. Запуталась, в общем...

Но сегодня вторник, а в будние дни единственное развлечение — книги по вечерам, когда всех желающих собирают в одной комнате и читают по главам приключенческие романы, и то только если домашнее задание сделано и ты не провинился за день.

Я прекрасно могу и сама читать, лёжа на кровати в своей комнате, но иногда здорово послушать, как читает воспитательница, и вместе со всеми ещё раз пережить невероятные приключения. А иногда и старших девчонок привлекают читать книги малышне. Сегодня мне сунули объёмный том, на очереди — «Остров сокровищ». Ребяшня слушает, замерев, и каждому кажется, что это именно он тот мальчишка Джим, на чью долю выпали испытания и незабываемые морские путешествия. Комната превращается в огромный многомачтовый фрегат, слышатся крики чаек и шум прибора. Даже воздух какой-то особенный становится вокруг, а на губах ощущается привкус соли.

Таинственный остров, где зарыты несметные сокровища капитана Флинта, ждёт мальчишек в бескрайних морских водах, и вместе с криком уставшей корабельной команды они радостно шепчут одними губами: «Земля!» Теперь над ними жаркое солнце, аромат невиданных цветов разливается по комнате, переспелые плоды шлёпаются с деревьев прямо к ногам, всюду летают разноцветные попугаи.

Но прекрасный остров становится местом битвы за сокровища. Пираты атакуют форт, где скрываются от них друзья Джима, стрельба, пороховой дым, вопли раненых...

Я на какое-то время возвращаюсь в настоящее, вглядываюсь в лица ребят: кто-то, застыв в неудобной позе, в нетерпении тербит пуговицу на рубашке; у кого-то приоткрыт рот и до предела распахнуты глаза; какая-то маленькая девчушка обхватила ручонками лицо и с неподдельным волнением ждёт, чьей же победой закончится бой; один мальчишка подпрыгивает от нетерпения и азарта на стуле, ему так хочется быть там, палить по подлым пиратам из ружья. И сама я, оказываюсь, сижу, впившись пальцами в твёрдую книжную обложку так, что суставы побелели от напряжения.

Какой же общий вопль возмущения издадут они, когда я закрываю книгу на самом опасном моменте.

— Всё! Все спать! Завтра дочитаем дальше.

— Мы же не уснем теперь! Ну пожалуйста, ещё немножко! Только бы узнать, кто победит. Ну пожалуйста! — нудят ребяташки в один голос.

— Нет-нет! Вам же интереснее будет, и день завтрашний пролетит незаметно! Всем спать!

С ворчанием расходится малышня по своим палатам. И долго ещё по всем комнатам скрипят пружины кроватей, взбудораженное сознание не даёт ребятне покоя. И даже когда сон всё-таки сморит, кое-кто из мальчишек ещё не раз вскрикнет воинственно во сне, взмахнёт рукой и уронит её, ослабевшую, обратно на подушку.

* * *

Вообще-то по воскресеньям у нас законный банный день. После завтрака и процедур всех санаторских, независимо от возраста, строят в две шеренги по парам, и чуть ли не строевым шагом мы топаем в поселковую баню. Малышня то и дело перебегает с места на место, толкается, путается под ногами у старших. Воспитатели стараются их уговорить, старшеклассники отвешивают подзатыльники, наконец, взрослые девки разбирают ребяташек и ведут их за руки, иначе порядка не будет.

Не знаю, как другие, а я очень не люблю этот банный день. Стесняюсь себя голой перед девчонками. У меня уже грудь выросла, как у взрослых девок, а Сонька вот совсем плоская, тонкая, лёгкая. Малявки пялятся на нас без стеснения, девахи подсмеиваются:

— Есть уже чего мальчишкам пощупать!

Крепко натираем друг дружке спины, окатываемся прохладной водой и удираем из моечной, где старшеклассницы ещё намыливают малышне головы. Им поручено следить за малолетками.

Не успеваем натянуть трусики, как в раздевалку со всего размаху залетает уже вымытый и одетый мальчишка. За дверью ржут его дружки. Мальчишка, зажмурившись от страха и позора, ломится обратно, а они его не пускают. Мы визжим, как резаные, закрываемся кто чем. Из моечной выскакивает мокрая девица и, увидев такой поворот событий, с руганью набрасывается на пацана и хлещет его от всей души полотенцем. Грудки её от энергичных движений подрагивают, влажные длинные волосы прилипли к мокрой спине. Несчастный мальчишка, красный, как варёный рак, еле вырывается от неё и убегает. Но возмущённая девка, прикрывшись полотенцем, ещё выглядывает в двери и орёт на столпившихся пацанов. Они хохочут над ней.

Уже когда все намыты, одеты и построены, чтобы идти обратно, возникает какая-то

суматоха. Оказывается, у Веры Поповой пропала вся одежда. Нас, ещё не высохших до конца, воспитатели загоняют с улицы в тесный банный коридор, велят ждать, а сами носятся по бане в поисках её вещей. Перепуганная банщица бежит следом за ними и всё время повторяет, что никогда ничего не пропадало, а тут... Вера в одном халате сидит в раздевалке и грустно молчит. Кто-то называет её растяпой, и в глазах девушки появляются слезы. Ругань несуетная, неразбериха, но нам нельзя опаздывать на обед, и поэтому Веру одевают всем народом, банщица приносит какую-то старую лоснящуюся от грязи фуфайку, подшитые валенки, где-то находится и тонкий платок на голову.

Парни всю дорогу хихикают над нею, воспитатели то и дело принимаются поругивать. Витька Колесов шагает молча, строго сдвинув брови, злится, а Натаха Горохова не скрывает своего ликования, улыбается во весь рот. Мне хочется свалить её в сугроб.

Веру холодно в простом лёгком платке, у неё, наверное, даже мокрые волосы замёрзли. Она идёт, опустив застывший взгляд в землю, но держится, не плачет.

После обеда всех собирают в актовом зале, и главврач просит сознаться того, кто нехорошо подшутил над девушкой. Разумеется, все молчат, только переглядываются.

— Ох, чуёт моё сердце, — шепчу я Тоньке, — нечисто тут. Посмотри, лахудра эта, Горохова, как радуется. У-у, злыдня какая.

— И чего девки её терпят, — соглашается Сонька, — давно бы собрались да побии всем миром. Эх, я бы сама её с удовольствием поколотила.

— А давайте ей какую-нибудь пакость подстроим, — предлагает Тонька.

— Надо подумать...

С этого дня у врачей появилась ещё одна головная боль — вдруг стали пропадать шприцы, бинты и лекарства. Они долго не могли понять, в чём дело, пока не догадались проверить в комнатах. Искали по тумбочкам, в вещах рылись, по карманам лазали и нашли пропажу в матрасе у Натахи Гороховой. Девушка долго хлопала глазами, клялась, что ничего не брала, никак не могла объяснить, зачем ей понадобились лекарства. Через несколько дней Натаху выпроводили из санатория.

Когда позже выяснилось, что это действительно она спрятала Верину одежду, мы радовались ещё больше.

* * *

Открываю глаза и сразу вспоминаю, что сегодня не обычный день — сегодня мой день рождения! И девочки уже приготовили сюрпризы-подарки. Валя связала для меня варежки, очень красивые, с цветочками по манжетам. Я сразу надеваю их — тёплые, мягие. Соня из своих тайственных запасов извлекла красивый носовой платочек, вышитый по краям. Когда только они успели? Втайне от меня придумывали, делали, старались! А Тонька просто вывалила на стол сэкономленные от обедов и ужинов куски сахара, два яблока и даже нетронутую упаковку лимонных вафель.

— Специально для тебя сохранила, — шмыгает она носом и сладострастно косится на угощение.

— Вот это подви-иг! — смеюсь я по-доброму. — И ты смогла всё это не съесть? Ради меня?

— А чо?.. — Тонька делает независимый вид. — Чо такого-то?

— Спаси-ибо! — обнимаю я её. — Но пировать будем вечером все вместе.

Меня ещё поздравляют в столовой, за завтраком. Тут так принято. Приносят к чаю сладкий пирожок. Я делю его с девчонками. Пусть по совсем маленькому кусочку, зато честно.

В школе, у дверей класса стоит с серьёзным видом Толик Кузнецов. Когда я подхожу, он отзывает меня в сторону, сует мне в руку какой-то свёрток, почему-то немного сердито говорит:

— С днём рождения, Таня!

И сразу уходит. Я разворачиваю газету и вижу сплетённую из трубок капельниц рыбку. С длинными плавниками и хвостом из тех же, только разрезанных вдоль трубок, с цветным глазом, с приоткрытым губастым ртом. Красиво! Необычно! Неужели сам сделал? Для меня?!

Этот день полон сюрпризов. Но главный ждёт меня впереди. Мы возвращаемся с уроков, а на столе в нашей комнате лежит запечатанное письмо. На нём аккуратно выведено — Зеленой Тане. Я вскрываю конверт, и на стол выпадает большая двойная открытка с ромашками. В ней трёхрублевая бумажка. Как здорово! Я рассматриваю открытку, трогаю выпуклые жёлтые сердцевинки цветов и чуть голубоватые лепестки, подёрнутые серебристыми колкими «росинками». Внутри вся открытка плотно заполнена строками, написанными твёрдым маминым почерком:

«Милая моя доченька! У тебя сегодня день рождения. Тебе исполняется двенадцать

лет. Я поздравляю тебя. Я желаю тебе здоровья и хорошего настроения, отличной учёбы и верных товарищей! Ты у меня самая красивая, самая добрая, ты очень похожа на своего папу. А теперь ты стала ещё и совсем взрослая. Ты уже многое понимаешь. И я хочу поговорить с тобой как со взрослой. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты тоже любила меня. Любила и понимала. И не обижалась понапрасну. Я хочу, чтобы ты поняла, как мне тяжело одной, как хочется мне простого женского счастья. Пройдёт совсем немного времени, и ты станешь девушкой, ты научишься любить, встретишь хорошего человека, выйдешь замуж, а я? Я останусь совсем одна. А ведь я молодая! Мне всего лишь тридцать один год! И я хочу, чтобы у нас была полноценная семья. Чтобы у меня был муж, а у тебя папа. Чтобы нам было на кого опереться в трудную минуту. Ты вырастешь, и ты поймёшь меня, а сейчас просто поверь, что так будет лучше всем нам!

Я обнимаю тебя! Я люблю тебя! Помни об этом всегда!

Твоя мама».

Слёзы текут из моих глаз. Всё во мне разрывается на две половинки. Мама любит меня. Но она любит ещё и этого своего дядю Сашу. Она пишет, что я похожа на своего папу, но предлагает мне называть «папой» чужого дядьку. Кому будет от этого лучше?! Нам? Ей! Только мамочке будет от этого лучше! И она ещё пишет, что любит меня?! Я не верю ни одному её слову! Зачем только она прислала эту открытку! Только день рождения испортила!

Я вскакиваю со стула и, рыдая, подбегаю к печке, кидаю открытку и разорванный конверт в огонь. Пламя в одну минуту бесследно съедает горькое поздравление. Но горечь в моей душе от этого не стихает.

— Таня! Таня! Не плачь! — девочки утешают меня, суют сладости.

Но я не хочу никаких сладостей. Ничего не хочу!

— Ничего не хочу! — кричу я. — Ничего не хочу!!!

Я рыдаю, бью кулаками подушку, боль такая непереносимая, что, кажется, я прямо сейчас умру.

Но вдруг... я успокаиваюсь. Резко сажусь на кровати. Девочки смотрят на меня настороженно. Я, ничего не объясняя им, открываю свою тумбочку, недолго роюсь там.

— Вот! Смотрите! — в моих руках — страничка из книги, фотография. — Знаете, кто это? — спрашиваю я, но видя их недоумение, поясняю. — Это — Гуля Королёва! Слышали?! Читали?!

— Не-ет... — тянут Тонька с Соней.

А Валя, на секунду задумавшись, говорит:

— Да, я знаю, кто это... Но откуда у тебя её фотография?

— Из книги... — я тушуюсь на мгновение, но сразу же сбивчиво оправдываюсь. — Не могла удержаться, вырвала на память... я никогда-никогда так не делаю! Но... мне надо было... не в этом дело! Знаете, чего я хочу? О чём я мечтаю? Я когда книгу о Гуле прочитала... «Четвёртая высота», книга такая, я её три раза читала! Так вот, я когда её прочитала, я решила, что обязательно стану такой, как Гуля Королёва.

— А что она такого особенного сделала? — с любопытством присаживается на мою кровать Тонька и прямо из моих рук рассматривает фото.

— Она совершила подвиг на войне, — опережает меня Валя, — она солдат в бой повела...

— Да! — перехватываю я рассказ. — Эта Гуля, она ведь не просто так героиней стала. Она воспитывала волевой характер! Она как будто знала, как ей это потом пригодится! Я тоже буду воспитывать свой характер, такой же — волевой и независимый. А Гуля, она на войне медсестрой была, под пулями вытаскивала раненых солдат с поля боя. А в двадцать лет совершила подвиг! У них погиб командир, и солдаты растерялись. Тогда Гуля встала и повела их за собой! И солдаты кричали «Ура!» и шли за ней. Потому что стыдно, когда девушка под пулями, а они трусились и в окопах сидят. И она тоже погибла, ранило её в этом бою смертельно...

— Там всё правда, — продолжила Валя, когда я, задохнувшись от нахлынувших эмоций, замолчала на время, — эта Гуля — она же артистка! Даже в кино снималась. И в Артек ездила. И с вышки с парашютом прыгала...

— Да, всё так! — снова включилась я в разговор. — И я думаю, что в жизни каждого человека должна же быть героическая цель. Я вырасту и покажу всем, чего я стою. Я тоже совершу подвиг, обязательно! Иначе и жить незачем. И вот тогда, они все пожалеют, что обижали меня! Они ещё вспомнят!

Я погрозила кому-то неведомому кулаком в стену.

— Девочки, а давайте поклянёмся! — предлагает вдруг Валя.

— В чём? — спрашивают Тонька и Соня, не очень-то готовые совершать подвиги.

— Встаём в круг, берёмся за руки... повторяйте...

И Валя чётко, торжественно произносит, а мы громко, дружно повторяем за ней:

— Клянёмся быть достойными славы погибших героев, клянёмся поднять упавшее знамя и пронести его дальше, не страшась вражеских пуль и атак. Во имя мирного неба над головой и счастья всех людей!

* * *

Возвращаемся из школы засветло, потому что последних двух уроков не было, учитель заболел. Подходим к санаторию и видим, как крыльцо его осаждают цыгане. Женщины в платках, каких-то странных полушубках, больше похожих на фуфайки, в длинных пёстрых юбках. Их много, человек десять, с детьми разного возраста.

Сонька, увидав своих, портфель в сугроб закидывает и со всех ног бросается к одной из цыганок, та ей навстречу. Сонька на неё запрыгивает чуть не с ногами, лопочут по-своему, непонятно, радуются. Все цыганки обступили их, шумят, нас подзывают, сулят леденцовых петушков на палочках. Мы сначала боимся, но Сонька нас за руки подтаскивает, знакомит. Женщина, с которой она обнималась, оказывается её матерью, и ещё здесь её сестры, брат маленький.

Все карманы у нас набиты гостинцами. Цыганки нас оглаживают, нахваливают:

— Ай, красавицы какие, разлюбезные девицы! Ай, счастливая будешь, пятно родимое на лице! Ручки белые, богатая будешь!

У меня от их болтовни и пестроты начинает кружиться голова. А Сонька прыгает вокруг и орёт:

— Они за мной приехали! Девчонки, я уезжаю от вас!.. Ай, Геннадий Петрович, сам себя сглазил, привела я ему целый табор! Медведя только нет!

— Что же ты радуешься? — обиженно спрашивает Валя. — Мы расстаёмся, может, за всю жизнь больше не увидимся.

— А мне, думаешь, не грустно? — перестает прыгать Сонька. — Зато меня в детдом не отправят.

— Тоже верно, — соглашается та.

— А попроси, чтобы они спели, — шепчу я Соньке на ухо, — я никогда не слышала, как цыгане поют.

— Сейчас, сейчас! — она подскакивает к матери, говорит ей по-своему, та отрицательно качает головой, но дочь начинает ныть, цыганка ругается на неё, переговаривается со своими, и все вместе они вдруг потихоньку запевают что-то печальное. Слов я не понимаю, но по мотиву чувствую, что песня не радостная.

— Я думала, цыгане только весёлые песни поют, — снова шепчу Соньке.

— Это прощальная песня, её всегда поют, когда расстаются. Это для вас специально.

Тонька ревёт, и я тоже начинаю шмыгать носом. Хочется обнимать всех, чтобы все были вместе, чтобы всегда были подарки и никто никого не обижал.

На крыльцо выскакивает взлохмаченный Геннадий Петрович:

— Если вы сейчас же не уберётесь, я милицию вызову!

— Что кричишь, золотенький, — выступает ему навстречу старая цыганка, — радость у нас, праздник. Родные повстречались. Не шуми, иди к людям.

Главврач просто багровеет от возмущения:

— Распустились! Законы для вас не писаны! Если через пять минут не уберётесь, вызову милицию, так и знайте!

— Ай, что кричишь, касатик! — присоединяются к старой цыганке ещё две, помоложе. — Жена тебя не любит. Иди погадаю, скажу, как жену приворожить. Любить будет больше жизни!

Геннадий Петрович рассерженно хлопает дверью, а цыганки кричат ему что-то вслед на своём языке и смеются. Но дожидаться милиции они, разумеется, не собираются.

Сонька обнимается с нами троими одновременно, всех расклеила совсем, и яркая суетливая толпа цыганок, среди которой бегают наша, теперь бывшая, подружка, уходит по дороге к посёлку, и в добрый путь им неожиданно проглядывает сквозь тучи солнце, словно напоминая, что будет и весна, и тепло. А в наших душах оно поселяет робкую надежду, что, может быть, мы ещё и встретимся когда-нибудь, где-нибудь.

* * *

Утром просыпаемся от невообразимого крика в коридоре.

Все воспитатели, врачи, во главе с Геннадием Петровичем, обступили Ивана Семёновича, который стоит, склонив голову, и согласно кивает. Ребяшня выгладывает из дверей палат с любопытством, но близко не подходит.

— Я тебя сколько терпел?! — орёт главврач. — Всё тебе с рук сходило. Хватит, дорогой, навеселился. Посмотри, винищем от тебя опять прёт! С утра-то! — плотник снова

согласно трясёт плешивой головой. — Тут же дети, на тебя наглядятся, пример им какой!.. Да что с тобой, с пьянчужгой, говорить. Всё, заявление мне на стол, и полная тебе свобода. Пей-гуляй, пропивай, что дома есть, и дом пропивай. Марь Кирилна, глядишь, потерпит-потерпит и тоже тебя уволит на все четыре стороны...

— Ну не продавал я его... — едва слышно оправдывается Иван Семёнович.

— Думаешь, я тебе поверю? Не надейся. Хватит, всё, хватит. Иди, листок бумаги тебе, ручку дадут, пиши заявление.

— Как же я без работы... инвалид войны... — шепчет плотник.

— Ничего не знаю! — Геннадий Петрович досадливо машет рукой и уходит в свой кабинет. Воспитатели, нянечки, переговариваясь, качая головами, тоже расходятся.

Иван Семёнович остаётся один посреди опустевшего коридора и, не замечая выходящих ребятишек, тихо плачет, утирая глаза грубыми серыми ладонями.

— Свели ведь, свели, сволочи... Таковую-то старую клячу. Куда на ней уедешь... Ни в упряжку, ни на колбасу... Свели конягу...

— Так тебе, дураку, и надо, — налетает на мужа невесть откуда взявшаяся тётя Маша, тычет в его повинную голову мокрым кулаком. — Засудят, и правильно сделают, я хоть отдохну от тебя, от вина твоего-о, — она тоже начинает подвывать. — Поса-адят ведь, олуха старого, а я ка-ак? Одна-то-о?!

— Маруся, не продавал я его, не продавал. Ты ведь знаешь, я и из дому-то никогда ничего не пропивал. А тут...

— Пропьёшь ещё-ё! Господи, Господи-и-и ...

Мы с девочками переглядываемся, уже почти догадавшись, что произошло, но окончательно убеждаемся только после того, как несчастные супруги уходят, а воспитатели, опомнившись, выгоняют нас в умывальник и на завтрак.

Нам не до еды, над столами жужжат голоса, спорят, кто какую версию выдвигает, но в конце концов все сходятся в едином мнении — ночью цыгане украли нашу санаторскую лошадь. Каким образом попали они на запертый двор, почему никто их не увидел, не услышал, где в это время находился Иван Семёнович и действительно ли он ни в чём не виноват — эти вопросы остаются невыясненными.

— Эх, нам бы сюда Шерлока Холмса, — мечтательно вздыхает Тонька, — он бы всё разузнал.

— Что это ещё за Холст? — в один голос спрашиваем мы с Валея.

— Сами вы Холсты! Шерлок Холмс, книга такая есть, про английского сыщика. Он любые самые страшные и запутанные преступления в одну минуту разгадать может. Знаете, как интересно!

— Вот бы почитать!

— Там ещё шифровки такие, можно на уроках переписываться, шпаргалки ни одна учителька не разберёт!

Мы уже загораемся этой идеей, но воспитатели отправляют нас в школу.

На истории ко мне на парту падает скомканная бумажка, я осторожно разворачиваю её и вижу странные рисунки: кривоногие и криворукие человечки выстроились в ряд и как только не раскорячены, некоторые даже вверх ногами. Оглядываюсь по сторонам, чтобы понять, чьи это художества, и вижу хитрющие Тонькины глаза, она подмигивает мне. Я пожимаю плечами, мол, что это. Но Тонька только лыбится бессмысленно. В этот момент из-за моего плеча выглядывает Толик:

— О! Пляшущие человечки! — со знанием дела заявляет он и шмыгает носом. — Давай расшифрую!

— Без тебя разберусь! — буркаю я себе под нос. Но Толик выхватывает записку, быстро пишет что-то в ней и возвращает мне, еле сдерживая глупый смех.

Я смотрю в бумажку, и от злости меня бросает в жар. Под каждым человечком написана буква, буквы складываются в два обидных слова: «Зеленина — дура!» Развернувись, луплю Толика учебником по голове с криком «Сам дурак!»

Весь класс хохочет, но громче всех — противная Тонька. Историчка уже стоит над мной и грозно велит убираться из класса, а заодно прихватить с собой и «кавалера», чтобы довыяснить отношения в коридоре.

Толкаясь в дверях, мы с Толиком вываливаемся из класса в длинный холодный обший коридор. До перемены ещё целая вечность. Хочется есть. Из столовой пахнет пирогами и тушёной капустой. Я стою у огромного заиндевелога окна и дуюсь на «кавалера», а он настырно ходит вокруг.

— Там так и написано! Это не я придумал, а Тонька твоя!

— Она не моя!

— Ну вот смотри! — Толик достаёт тетрадку и на её обложке рисует новых человечков. — Это «А» — человечек стоит прямо, ноги в стороны, руки прямые. Это «Б» — вниз головой, одна рука петелькой, «В» похожа на «А», только руки загнуты полукру-

гом... Там целый алфавит такой!

— Отстань!

— Мне не веришь, пошли в библиотеку! — Толик хватает меня за руку и тащит за собой. Я упираюсь. Звенит звонок. Из классов выплёскиваются сметающие всё на своём пути потоки учеников, под шумок я вырываюсь из цепкой Толиковой руки и, смешавшись с дикой голодной толпой, бегу в столовую.

Потолкавшись у раздачи и заполучив тарелку с горячей капустой и стакан компота с пирожком, занимаю место за столом. Но не успеваю даже откусить от пирожка, как рядом плюхается пронырливая Тонька и, с набитым ртом, сообщает мне:

— Историчка вам с Толькой по неуду за поведение влепила!

— Ну и ладно! Ну и подумаешь! — выкрикиваю я ей, тупо сижую минуту над тарелкой, слёзы закипают в горле, есть уже не хочется совсем. — Это ты во всём виновата!

Я вскакиваю, бросив свой обед нетронутым, и убегаю из столовой. Я уже точно знаю, что Толик не соврал: это именно Тонька написала «Зеленина — дура!» А он тут совсем ни при чём. Толик хороший. Он даже шифровки умеет разгадывать.

* * *

Вместо доброго балагура Ивана Семёновича дрова в наши комнаты теперь носит мрачный худой и хромой дядька. Мы даже не знаем, как его зовут. Он швыряет мёрзлые поленья на пол со страшным грохотом, зло колет лучину. Если печка долго не хочет растапливаться, тихо, сквозь зубы, матерится. Когда он приходит, мы даже смеяться и разговаривать перестаём. Топит он плохо, ленится принести лишнее полено. Нам холодно, но жаловаться бесполезно. Не одни мы такие. Ходили уже девочки к Геннадию Петровичу, уговаривали вернуть плотника, но директор непреклонен. Одно радует — скоро весна! Несколькими днями осталось до марта. Солнце светит чаще и ярче, и горячие лучи его уже греют сквозь оконное стекло, если подставить прямо под них щеку или ладонь.

Тётя Маша моет полы грустно, разговаривает мало. Ходят шепотки, что главврач повесил на них долг за лошадь, и выплачивать им этот долг теперь сто лет. Но хоть без суда обошлось, и то ладно. Ивана Семёновича взяли сторожем на молокозавод, но с условием — до первой пьянки. Вот и молится тётя Маша, чтобы муж не сорвался, вот и вздыхает о судьбе своей.

В субботу вечером она подходит ко мне, как обычно, гладит по голове, перебирая мои светлые кудряшки, и тихо шепчет:

— Пойдёшь в гости? Прямо сейчас и на всё воскресенье. Пойдёшь?..

Я напрягаюсь, припоминая данное себе обещание не ходить больше к ним домой, но внезапная нежность к этой доброй женщине захлестывает всё моё существо, и я согласно киваю. Тётя Маша быстренько отпрашивает меня у директора, хотя он что-то ворчит недовольно, мы одеваемся и выходим в синие предвесенние сумерки. Ах, как пахнет талым снегом, какое небо высокое и чистое, тоненький месяц и горсточка звёздочек в нём, ещё не ярких. Чернеет мокрый лес. Жёлтые фонари отражаются в лужах. Лужи подёрнуты ледком. Днём солнце припекает совсем по-весеннему, но ночами держатся крепкие морозы. Подтаявший за день снег сковывает таким мощным настом, что тот спокойно выдерживает взрослого здорового мужика.

По пути мы заходим в магазин. Тётя Маша покупает кулёк крупного кускового сахара и полкило пряников для меня.

— Я нынче с утра молоко в печь поставила. То-то попьём сейчас томлёного, да с сахарком!

— Дак корова же в запуске? — вспоминаю я. — Откуда молоко?

— Дед с молокозавода приносит, — простодушно отвечает женщина, но словно спохватывается и быстро добавляет, — не домашнее, конечно, но с голодухи можно похлебать. Пряничка хочешь?

Я беру пряник, но, задумавшись, несущего его в руке. Глазурь тает в тёплых пальцах, липнет, словно мёд.

— Марья Кирилловна, а почему вы только меня в гости зовете? Девчонки некоторые завидуют, злятся... обзываются обидно.

Тётя Маша отвечает не сразу, мы успеваем пройти до конца улицы и свернуть в проулок, где стоит их дом.

— Может, и нехорошо это, что я тебя среди всех выделяю. Другим обидно, понятное дело, но родная ты, понимаешь?..

— Как это? — словно вкопанная замираю я на месте и подозрительно спрашиваю: — Я вам кто?

— Ах ты, ангелица моя, — улыбается тётя Маша, — иногда и чужой человек роднее родных бывает... Да пошли же в дом...

Тепло! Как же тепло в этом маленьком уютном домике! И как же вкусна домашняя пшённая каша! Да с коричневой запечённой корочкой! Наевшись, я забираюсь на горячую просторную спину русской печи, а тётя Маша подаёт мне туда ещё кружку с топлёным молоком и кусок сахара.

Иван Семёнович рад гостям, балагурит, пыхает папироской, подшивая мой прохудившийся валенок.

Я рассказываю ему про инцидент с историчкой. Жалуюсь, что в палатах холодно, что крысы опять обнаглели, что Витька Колесов снова подрался с поселковыми парнями и ему грозят исключением. Иван Семёнович усмехается:

— Я в парнях кулачные бои шибко любил. Деревня на деревню ходили. Особенно на Масленицу, ох, и били-и-ись! Нос-то у меня, кривой, вишь? Память!

— А что это за бои такие? — любопытствую я, похрустывая сахарком.

— А это, Танюшка, когда большой праздник, когда несколько деревень вместе гуляют да вина напьются, так хочется парням или мужикам силу свою показать, — Иван Семёнович затаптыгает в старой консервной банке окурков папиросы и продолжает: — Сойдутся на площади или на широкой улице, а того лучше — на реке, если лед ещё крепкий. И хоть какой мороз — до пояса разболокаются, и чтобы никакого инструмента в руке не было! Это закон. Только на кулаках. И чтобы только один на один. Без выбора, как выпало. Бывало, здоровый мужичина против парня ледащего встанет. Тогда уж только хитростью да вёрткостью можно взять. И до первой крови. Никакого смертоубийства, боже упаси. Хотя... бывало всяко... не совру. Руки ломали, рёбра, носы вот... Э-э-эх... Вспомнил я эти кулачные битвы, когда в рукопашную против фрица пришлось ходить...

Лицо Ивана Семёновича вдруг резко меняется, темнеет, обычно живой и озорной взгляд останавливается. Он машинально достаёт из пачки ещё одну папиросу, разминает её, кроша табак на штаны, да так и застывает.

— Дядя Ваня... — шепчу я едва слышно. — А вы и на войне были? И немцев видели?

— Как тебя... — глухо отвечает Иван Семёнович. — Но это невесёлые воспоминания. Не хочу портить добрый вечер!

— А вас ранили? — настойно продолжаю я допрос.

— Есть такое дело! — бодрее отвечает хозяин. — Две хор-р-рошие дырки просверлили во мне фашистские пули. Но я ведь жив? Жив! И здоров! Поэтому давай говорить за жизнь!

— Лёгкие у него прострелены, — заходит в комнату тётя Маша, — и курить бы ему совсем не надо! — добавляет она строго и насильно вынимает у мужа изо рта только что прикуренную папироску, тычет ею в банку.

— Ну Маруся! — возмущается тот. — Хорошую же папиросу поломала!

Но тётя Маша его не слушает, а обращается ко мне:

— Слезай-ка, покажу чего-то... — я спрыгиваю с печи, подхожу к столу, около которого присела женщина. Вижу, что она положила на него фотографию и ласково разглаживает её рукой. — Ну-ка, пальцы-то липкие от сахара, вымой, — говорит она строго. Я брякаю рукомыльником, насухо вытираю вымытые руки, снова иду и сажусь к столу. — Вот, Танюшка... — произносит тётя Маша каким-то совсем незнакомым, дрожащим голосом, — посмотри-ка на эту девочку... в серёдке...

Я осторожно, как что-то хрупкое, беру у неё фотографию. На ней семейная пара и двое детишек: мальчик и девочка. Взрослые стоят строго, сосредоточенно. Мальчик совсем маленький, годика два, изогнулся, капризничает... Девочка... ей лет двенадцать, она в школьном платье, в аккуратном фартучке, взгляд ясный, прямой, волосики светлые, кудрявятся, она улыбается и вся словно подалась навстречу вылетающей «птичке»... Это же я! Мне становится жутко.

— Маруся... Маруся... — едва слышно говорит, даже шепчет себе под нос Иван Семёнович, — зачем ты... снова заболеешь ведь...

Я испуганно-вопросительно взглядываю на тётю Машу.

— Это наша дочушка, — говорит она тихо, светло, ласково оглаживая фотографию сухой ладонью, но я слышу за её спокойными интонациями что-то нехорошее, страшное. — Первушечка наша, ангелица светлая... Она умерла... погибла. Это мы перед самой войной фотографировались, в мае. Учёбу она в тот день закончила, пятый класс, мы её забрали и пошли в фотографию... Не уберегла я её...

— Маруся... Маруся... — шелестит Иван Семёнович.

Я снова взглядываюсь в лица людей на фото и действительно узнаю в них и дядю Ваню, и тётю Машу.

— А как звали её, вашу девочку? — спрашиваю я и сама пугаюсь собственного вопроса. Если она сейчас скажет — Танечка, то я просто убегу и спрячусь куда-нибудь.

Но тётя Маша нежно отвечает:

— Светочка.

И всё. Больше в этот вечер тётя Маша не скажет ни слова. Она будет долго сидеть за столом, потом так же молча уйдёт в спальню, а ночью, как и в тот раз, встанет на тихую молитву.

Я буду долго ворочаться на печи, мне то жарко, то холодно, то попить, то на ведро...

Иван Семёнович, услышав моё беспокойство, заглянет на печь, поставит рядом со мной подшитые валенки, пожмёт шершавой ладонью мою руку:

— Ты спи, спи, не мучайся. Война была. Сколько народу полегло. И детишек... Маруся напрасно казнится, не виновата она...

— А мальчик? Сынок? — с надеждой спрашиваю я. — Он живой остался?

— Так это же Васька! В рамке-то, моряк, это он и есть! Забыла? В Заполярье который живёт. На хорошей должности. Жена у него добрая. Детишек трое! Так что не переживай. А что было... то было... Не вернёшь... Я и фотографию эту прячу, в рамку не ставлю, чтобы душу не травить. А она найдёт, плачет и болеет потом... Спи! Утро вечера мудренее.

Он ещё гладит меня по голове. На печку, приветливо муркнув, запрыгивает кошка, я обнимаю её и не замечаю, как засыпаю.

Мне снится папа. Хотя я его совсем не помню, только по фотопортрету, что висит у нас дома на стене. Папа умер совсем молодым. Мне было всего два годика. А тут мы все — и мама, и папа, и я на одной фотографии, стоим точно так же, как дядя Ваня и тётя Маша со своими детьми. И я в школьной форме и в фартучке. Только вместо капризного мальчика какая-то маленькая девочка. Я её никогда не видела. Кто это? «Это твоя сестра», — вдруг говорит папин голос. Я не помню папиного голоса, но почему-то знаю, что это он. И ещё я знаю, что у меня нет сестры. Зачем мне сестра? Нам с мамой и так хорошо вдвоём...

* * *

— Танька! Танька! Вставай быстрее! — кричит знакомый противный голос.

Я вскакиваю, забыв, что я на печке, и больно ударяюсь о близкий потолок. Тонька в нетерпении заглядывает ко мне, стоя на приступочке.

— Одевайся скорее! К тебе мама приехала! С первой электричкой! Ждёт!

Я сонно одеваюсь, путаясь в чулках.

— А где тётя Маша? Дядя Ваня?

— На дворе они! Ну-у, давай!.. Ай, — отмахивается нетерпеливо Тонька, — жарко тут! Натопили! Я тебя на улице подожду!

И она выскакивает на волю, сильно хлопнув дверью. Вот как будто больше некого за мной прислать, кроме этой вредной Тоньки.

Мама ждёт меня в столовой. Перед ней стакан с чаем, маленькая круглая булочка на тарелке. Она сидит, не сняв пальто, оно только расстёгнуто, и платок спущен с головы на плечи. Мама греет руки об горячий стакан, булочка не тронута. Я сажусь напротив. Она смотрит на меня немного растерянно, потом строго:

— Ты где это ночуешь? По чужим людям?

— Нет... — шепчу я, — у тётя Маши...

— А тётя Маша кто тебе?! Тут мама приехала рань раннюю, дожидается, а она у какой-то тётя Маши спит себе! Вот как хорошо!

Мама сердится. Я не знаю, что ответить. Сажусь, ссутулившись, зажав ладони между коленок. Не смотрю маме в глаза. Она молчит какое-то время, пьёт чай короткими глотками.

— Ты как себя чувствуешь-то? — наконец спрашивает мягче.

— Хорошо... — выдавливаю я.

— Чаю хочешь? — мама пододвигает мне свой стакан и тарелку с булочкой.

Я послушно прилипаю к стакану, но пить не могу. В горле комок обиды. Я соскучилась по маме, очень сильно соскучилась! Но я даже обнять её боюсь. Она сердится всё время. За что? Я не понимаю.

— У меня выходной сегодня, я приехала тебя с восьмым марта поздравить заранее, — с этими словами мама достаёт из своей сумки коробку цветных карандашей, тетрадки, шоколадку. — А на каникулы тебя бабушка заберёт... — мама замолкает, словно обдумывает что-то, подбирает слова и почему-то прячет от меня взгляд. — Ты пока с бабушкой поживёшь... ладно? Потому что... так надо... Тебе с ней удобнее будет. Учебно-то запустила? Она хоть позанимается с тобой летом. В деревню поедете... А осенью уже с нами будешь жить, уже в свою школу пойдёшь...

— С кем это — с вами? — спрашиваю я с вызовом.

— У нас теперь семья, — отвечает мама слишком уверенно, слишком твёрдо, — большая семья...

И тут мне словно кровь ударяет в голову. Я отталкиваю стакан, чай выплёскивается через край. Вскрываю и подбегаю к маме и распахиваю её пальто... Она пугается и хочет снова запахнуть, спрятаться... Но я уже вижу ВСЁ! Я вижу её живот! Большой, круглый живот у худенькой маленькой мамы.

Слёзы из глаз фонтаном. Я отшатываюсь и кричу:

— Я всё поняла! Я не нужна тебе! И ты мне не нужна! Мне никто не нужен! И забери свои подарочки!

Я швыряю в неё тетрадки, коробку с карандашами. Карандаши разлетаются в разные стороны, падают на стол, на пол с тонким тоскливым деревянным стуком. Они побиются, и их потом невозможно будет очинить — грифель станет крошиться и крошиться...

Мне хочется ударить маму в это её большое и круглое... От осознания этого чудовищного желания я словно стекленею, замираю. Мама застёгивает пальто дрожащими пальцами, а пуговицы на животе не сходятся. И мама тоже плачет, тихо, молча. Она уходит. Я убегаю под лестницу, забиваюсь в угол, рыдаю там, но где-то в глубине сознания понимаю, что обратная электричка только вечером, что маме некуда пойти, и она теперь будет сидеть на станции совсем одна, долгие часы, в пустом гулком зале, на деревянном холодном диванчике. Где-то в глубине души мне до боли жаль её и хочется вернуть. Но я упрямо ненавижу её и того, кто теперь живёт в её животе.

Меня находят под лестницей нянечка с девочками, отводят в комнату, дают выпить что-то противное, горькое. Отчаяние и злость, переполняющие меня, медленно приглушаются, гложут, отступают, и я засыпаю.

Через час я открываю опухшие глаза, и первое, что вижу, это аккуратно сложенные на моей тумбочке помятые тетрадки, карандаши, как потом окажется, собранные в коробочку все до единого, шоколадку сверху на всём этом. Я протягиваю её девчонкам:

— Чего не съели? Ешьте! Я не хочу.

Они молча берут драгоценную плитку, деликатно шелестят серебристой фольгой, делают поровну и приносят мне мои дольки. Но я отворачиваюсь и даже зажмуриваюсь. Зачем только я проснулась? Спать бы и спать, чтобы ничего не чувствовать. У меня так болит где-то в груди, так жжёт. Неужели это навсегда? Такая непереносимая, такая жгучая боль... и такая тоска, такое одиночество, среди людей, среди подружек. Они все словно за стеклянной стеной. Я и вижу, и слышу их. Но я их не вижу и не слышу... Зачем я только родилась? Зачем папа умер? Если бы папа был жив. Вся жизнь была бы другой. Я знаю. Он бы любил меня, жалел. И мама была бы другая. Добрая, весёлая. И жили бы мы все вместе в большом светлом доме с цветными половиками и вышитыми занавесками. И я бы не болела и не лежала сейчас на скрипучей пружинной кровати с распухшими от слёз глазами и свистящей дырой в груди на том месте, где было моё сердце. Оно ещё бьётся? Мне кажется, оно остановилось. Мне кажется, его вырвал у меня из груди капитан Крюк, ковырнул своим железным когтем, вынул и забрал себе. И дыра эта, там, где положено быть тёплому живому сердцу, теперь навсегда. И в ней поселились вечные сквозняки...

* * *

В среду мы прибегаем из школы и застаём в нашей комнате новенькую. Её поселили к нам на место Соньки. Тамара — так зовут девочку — очень толстая, она не может быстро ходить, а уж тем более бегать. Дышит тяжело, со свистом. Мы принимаем её настороженно. И она всё больше молчит. Но вечером Валя помогает новенькой подготовиться к завтрашним урокам. Я отдаю Тамаре свои дольки шоколадки, которые так и не съела. А Тонька садится на любимого конька:

— А вот мой папа — спортсмен! Лыжник! На соревнования ездит, и медали только золотые привозит. Они у нас повсюду висят. Я их даже на зуб пробовала — настоящие! Чуть зуб не сломала!.. Тебе тоже надо на лыжах... Тогда похудеешь и будешь, как мой папа — красивой!

Тамара от этих её слов даже поперхнулась шоколадкой. Закашлялась. Мы с Валею лупим её по спине. У Тамары на глазах слёзы. И непонятно, отчего — от обиды или оттого, что подавилась.

— Тонька! Что ты пристала к человеку? — обрывает её Валя. — Кто тебя только воспитывал! Папа твой?

Тамара пьёт тёплую воду. А Тоньке хоть бы хны.

— А ещё у нас дома рыбки в аквариуме. Папа привёз, когда в океан с аквалангом нырял. Наловил сачком и привёз мне! Знаешь, они какие! Всякие! И красные, и жёлтые, и зелёные. И даже золотая рыбка есть! Хочешь, нарисую?

— Врёшь ты всё, золотая рыбка! — не выдержав, обрывает я.

— А вот и не вру!

— А почему же тогда к тебе ни разу твой папочка не приехал? Все каникулы в санатории просидела!

— Потому что он директор! Руководит большим заводом, и ему некогда! Но зато мы летом на юг поедём, в Крым! Морской воздух полезен!

— То он у тебя спортсмен, то директор, то с аквалангом ныряет!

— А ты не завидуй! — и Тонька показывает мне язык. Он у неё тонкий и длинный. Так бы и дёрнула её за него, но противно. Косы у Тоньки, как всегда, растрёпаны, школьное платье и фартук снова в пятнах, чулки вечно гармошкой. А ещё дырка в пионерском галстуке, и она в неё всё время запихивает грязный палец, отчего дырка становится больше и больше. Тоньку за этот галстук даже на активе класса прорабатывали. Ей же всё нипочём. Ну что за девчонка!

А ночью у Тамары случается приступ. Она сидит на кровати и задыхается. В глазах её паника. Сказать ничего не может.

Мы прямо в ночных сорочках, сунув голые ноги в валенки, бежим к дежурной нянечке. Та приходит и делает Тамаре укол. Приступ утихает. Нянечка видит обёртку от шоколада и ругает нас. Оказывается, Тамаре нельзя его есть. Но ведь хочется. Особенно когда нельзя.

На уроках мы дремлем — бессонная ночь не прошла даром. Тонька получает двойку по русскому. И я рада этому. Наверное, я злая, но Тоньке так и надо. Она вчера прохвасталась весь вечер и не сделала упражнения. Тамару в первый же день в школе обижают мальчишки, обзывают «жирной коровой». Я заступаюсь за новую подружку и гоняюсь за ними, луплю портфелем. У него отваливается ручка.

Последним уроком — физкультура. На лыжах. У Тамары освобождение, и она остаётся ждать нас в школе, потому что боится одна через лес идти в санаторий — заблудится или мальчишки снова пристанут. А мы скользим по наезженной лыжне среди коричневых промёрзших сосен. Набиваем карманы опавшими растопорщенными шишками — пригодятся для поделок.

Малый круг — три километра. Сдаём на скорость. В конце круга, на финише, там же, где и старт, нас ждёт учитель с секундомером в руке. Мы догоняем друг друга, толкаемся. Как ещё разойтись на одной и той же лыжне? Да ещё лыжи эти, с кожаными креплениями на валенки, они всё время сваливаются. Хорошей скорости на них не добиться.

Я устаю и ползу среди отстающих. Ну и ладно, пусть будет тройка в четверти. Кому нужны все эти оценки. Маме? Маме всё равно. Мне тем более... И тут я вижу, как впереди кто-то несётся на лыжах навстречу. Толик! Он вернулся с круга. Сует мне лыжную палку:

— Держись! — и тянет меня за собой.

Вот ведь какой! Даже и не скажешь ему, что я всё ещё сержусь.

Но помощь друга ничего не решает. К финишу мы прибываем предпоследние. И теперь не только у меня, но и у этого ненормального Толика тройка в четверти по физкультуре. А уж у него-то могла быть и пятёрка! Он отличный лыжник!

— Ну и зачем? — раздражённо спрашиваю я, когда мы выходим из школы. — Кто тебя просил? Хочешь показать, какой ты хороший?

— Я нормальный, — сухо, по-мужски парирует Толик. — Я тебе книжку принёс. Потому что ты же человеческим словам не веришь. Вот, смотри сама.

Я принимаю от него потрёпанный томик Конан Дойля с заложённым листочком бумаги страницей. Раскрываю по закладке, и передо мной пляшет алфавит из человечков. Но я уже и не помню, какие именно были нарисованы в злополучной Тонькиной записке. Тем не менее, быстро зрительно складываю обидное короткое слово на букву «д». Вроде похоже...

— Можно я её с собой возьму? — робко спрашиваю Толика, предвкушая интереснейшее чтение.

— Бери! — снисходительно бросает он. Пихаю книгу в портфель без ручки. Пристальнее замечает непорядок: — Ручка-то где? Потеряла?

— Нет, в кармане.

— Дай сюда! — деловито, не без горделивости говорит Толик.

Мы останавливаемся. Ватага ребят уходит далеко вперёд, не заметив нашего отсутствия. Толик сосредоточенно разжимает перочинным ножиком клёпки крепления. Я смотрю на его руки — длинные тонкие пальцы, на них царапины, ногти обгрызенные в ноль. Что-то одновременно неприятное и притягательное в этих руках. Какое-то странное чувство они вызывают во мне, волнение и смущение. Толик вставляет колечки в уши, поджимает обратно и отдаёт мне починенный портфель.

— Так-то я бы и сама могла, — фыркая вместо благодарности.

— Зеленина, что ты за человек такой? — выдыхает вдруг Толик обиженно. — Ведь

ещё одна четверть, и вы все разъедетесь! И не увидимся больше никогда!

Парень срывается с места и убегает вперёд, бросив меня одну, в растерянности. Что это с ним? Совсем чокнулся! А что это с моим лицом? словно кипятком плеснули. Щёки польхают, горят. Прикладываю к ним холодные ладони, чтобы остудить, но что-то горячее, что-то незнакомое окатывает вдруг изнутри. Уж не заболела ли я? Не простыла ли?..

* * *

И снова воскресенье! Неделя пролетела незаметно. Мы уже сходили утром в баню, пообедали, а теперь торопимся в кино. Но в Доме культуры снова показывают «Серёжу». Хороший фильм, про мальчика, у которого появляется новый папа. Как у меня тоже теперь есть какой-то неведомый новый папа. Но похож ли он на Коростелёва? Будет ли таким же внимательным и справедливым? Я не хочу смотреть этот фильм ещё раз, не хочу думать о своей новой семье, не хочу тратить свои оставшиеся монетки. Тонька тоже видела этот фильм, но ей всё равно, хоть пятый раз пойдёт смотреть, тем более если за неё платят! Но я не хочу за неё платить. Из-за этого мы с девочками ссоримся, и я ухожу гулять одна.

Слоняюсь по улицам. Серо, скучно, падает редкий снег. После конфет сладко во рту и хочется пить. Я ищу колонку, пью маленькими глотками ледяную воду, зубы ломит, валенки забрызгала... А когда разгибаюсь, вижу волнующую картину: жена Геннадия Петровича — я её знаю, она бывает иногда в санатории — выходит из частного деревянного дома в сопровождении какого-то военного. Он держит её под ручку, они смеются, он смотрит на неё влюблённо. Их ждёт чёрная легковая машина. Они садятся вдвоём на заднее сидение и уезжают.

В моей памяти вспыхивают слова цыганки: «...жена тебя не любит. Иди погадаю, скажу, как жену приворожить...»

Позабыв про ссору, сломя голову, несусь обратно к Дому культуры, чтобы поскорее рассказать девочкам о том, что увидела. Но в зал посреди сеанса меня не пускают. Да и жалко тратить оставшиеся монетки на билет за полфильма.

В нетерпении топчусь в фойе. И тут вижу, что жена главврача с военным сидят в буфете. Улыбаются, разговаривают потихоньку. Перед ней красивая чашечка, над которой вьётся парок, пирожное на блюдечке. У него стакан в подстаканнике, наверное, с чаем. Она, кокетливо склонив голову, колукает ложечкой пирожное. Он, наклонясь поближе, говорит ей что-то, потом осторожно накрывает своей большой ладонью её ручку, одетую в перчатку.

У меня так колотится сердце. Всё очень красиво и необычно, так только в кино бывает. И вот я стою у стеклянных дверей буфета, как замороженная, и не могу оторваться от этой волшебной картинки. Ну когда же кончится сеанс! Надо, чтобы девочки это сами увидели, ведь не поверят!

Надеждам моим не суждено сбыться. Полюбовнички поднимаются и уходят раньше, чем распахиваются двери кинозала. Я набрасываюсь с горячими новостями на подружек. Они слушают меня, открыв рот.

— А ты не врешь? — настороженно спрашивает Валя. — Хотя... Помните, когда за Соней приезжали, что ему одна цыганка сказала?..

— Что жена его не любит! — подхватываю я. — И помните, как он разозлился?!

— Так он что, знает? — спрашивает Тамара.

— Знает, не знает, но догадывается... — отвечаю я. — Надо же, я думала, только мужья жёнам изменяют.

— А военный — красивый? — вставляет свое словцо Тонька.

— Высокий, стройный... с усами...

— Прямо как мой папа-а! — мечтательно тянет та.

— Да ну тебя! — злится Валя. — Надоела со своим папой!

— Да, Валечкинская? Надоела я тебе? Зато мой папа никогда моей маме не изменял! Вот! — И Тонька снова показывает свой длинный противный язык.

— У-ух! Какая ты! — кричу я на неё и даже сжимаю кулаки от злости.

— Девочки! Перестаньте! — обрывает Тамара. — Пойдёмте домой, а то опоздаем на обед.

И мы спешим в санаторий, на ходу обсуждая свалившуюся на нас любовную историю. Вряд ли хоть одна из нас призналась бы другой, что главврача вовсе не жалко, что красивый военный с густыми усами — мечта любой женщины, независимо от возраста. Но во мне вскипает чувство справедливости, и под его натиском красивая картинка счастья из чужой жизни постепенно стирается.

* * *

Мы заходим в класс и застываем от чудесной картины: у каждой девочки на парте лежит тоненькая веточка мимозы и конфетка в красивом фантике. Едва уловимый аромат весны витает в воздухе. Девочки смущены. Непривычно всё это. Каждая берёт свою веточку, подносит к лицу, нюхает и украдкой смотрит в сторону того мальчика, который ей симпатичен. Но я ни за что не буду смотреть на Толика! Я заворачиваю цветок в тетрадный листок и прячу в портфель.

Мальчишки делают вид, что они тут ни при чём. Но всё-таки ведут себя чуть иначе, чем обычно. Не толкаются, не дерутся, не дергают за косички. Правда, хватает их ненадолго, только до большой перемены. Они несутся в столовую, расталкивая всех и вся, на ходу отвешивая и получая тумачи. Мальчишки! Что с них возьмёшь!

Восьмое марта. Международный день женской солидарности. День борьбы женщин за свои права и равноправие с мужчинами. Солидарность — это когда все вместе. Все женщины против мужчин. И правильно! Нечего им волю давать, распустились! Дерутся, обзываются, курят за школьным гаражом, кошку позавчера поймали и мучили, а потом привязали банки к хвосту и отпустили. Бедная животинка от испуга чуть не умерла! Нет, не люблю я мальчишек, и Толика не люблю, хоть он и подлизывается всё время. И ручку на портфеле я прекрасно починила бы сама, никто его не просил!

Вечером в санатории — концерт. Стихи, песни, весёлые сценки. Мы хохочем, когда мальчишки, один из них вездесущий Толик, разыгрывают разговор трёх старушек. Вышли в юбках, платках, смешные очки нацепили, да ещё трясут на руках кульки с «внучатами». Обсуждают, как правильно воспитывать детишек, а при этом то держат их вверх ногами, то за плечо закинут, то вообще уронят! Ну и бабушки! Толик до того довертел своего «внучка», что конверт из одеяла развязался и из него на сцену с грохотом вывалилось берёзовое полено! Зал взорвался. Все хохотали, чуть животики не надорвали, некоторые даже со стульев на пол попадали.

А после концерта, конечно же, танцы. И, позабыв про новогодний скандал с «Цыганочкой», ради такого праздника мы с девчонками вскрываем наш «клад». Это ещё после Соньки осталось — помада и румяна. Цыганки сами всё это делают. Мы наvertsели причёски, нарумянилились, губы накрасили, у кого-то и криво, правда, но ничего! Сразу такие взрослые стали, даже бегать теперь неприлично. У кого были — надели туфельки или ботинки. У меня тоже есть осенние полуботы, они не очень красиво с платьем смотрятся, но всё лучше, чем надоевшие валенки. У Тоньки только ничего нет. Как ходит каждый день, так и на танцы отправилась. Мы её хоть вечно растрёпанные косы заставили переплести, бант красивый дали. А губы она накрасила первая.

В актовом зале полумрак, играет пластинка, звучит вальс. Танцевать его умеют только взрослые. Геннадий Петрович Петрович вальсирует со своей женой. Делают вид, что между ними всё в порядке! Как так можно?! Ведь наверняка в посёлке все всё видят и знают. И, получается, врут! Скрывают правду! Она ещё и улыбается ему, так же как три дня назад улыбалась тому военному!

Я отвожу взгляд, потому что мне противно смотреть на эту фальшивую семейную сцену, и с радостью вижу танцующих дядю Ваню и тётю Машу. Вот где настоящая любовь и верность! И улыбаются они друг другу искренне, и кружатся легко, словно десяток лет сбросили.

А вокруг стоят или сидят около стен нянечки, воспитатели, медсёстры. Даже наш мрачный хромой истопник преобразился — в костюме, с гладко причёсанными волосами, выбритый. Также совсем молодой, оказывается. Он робко подходит к одной из медсестёр, приглашает. Они танцуют, но истопник напряжён, неуклюж, то и дело сбивается с ритма, на ноги девушке наступает. Малышня дурачится, пытается вальсировать парочками, и мы туда же, падаем, хохочем, больше возни, чем танцев. Только взрослым мешаем.

Молодёжь стесняется, жмётся по углам, шушукается, хихикает. Витька Колесов ходит среди девчонок-старшеклассниц гусакон. На нём белая рубашка, брюки выглажены, ботинки начищены. Жених просто! Только вот ссадина свежая на скуле. Драчун несчастный! Вера Попова стоит среди подружек и совсем не обращает внимания на эти его выхаживания, только смеётся высоко, громко, залиvisto. Но словно специально смеётся, напоказ, чтобы только подразнить Витьку. Тогда он, со злости, хватается за руку одну из поселковых девушек, пришедших на праздник, и танцует с ней вальс. По-настоящему! Умело, чётко, красиво поддерживая партнёршу рукой за талию. Вера, повернув голову, смотрит на них сощурилась, ревнуя. Перегордилась! Сама виновата!

После вальса Витька ловко вспрыгивает на сцену, где стоит проигрыватель, и больше танцевать не спускается, никого не приглашает, сидит суровый, серьёзный, меняет пластинки одну за другой. И звучат в празднично украшенном зале популярные мелодии: «Ландыши, ландыши, светлого мая привет!..», «Я встретил девушку, полумесяцем

бровь...», «Пять минут, пять минут! Бой часов раздастся вскоре!..», «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали! Бери гармонь, играй на все лады...»

Иван Семёнович берёт гармошку и, лихо развернув меха, играет плясовую. И пошли дробить пол женские туфельки. И сыпанули частушки.

— Тебе понравилась сценка? — я оборачиваюсь на знакомый голос. Толик смотрит на меня с надеждой, но вдруг хмурится: — Это что у тебя? — я не сразу понимаю, о чём он, но взгляд его уперся в мои накрашенные губы. — Это ты для кого? Намалевалась, как... не знаю...

— Как кто? — резко спрашиваю я. — Договаривай!

— Не люблю я этого... некрасиво... — тушует мой кавалер. — И Тоня? И Тамара тоже.. и даже Валя! Вы чего все с ума-то посходили?

— Ну и вали отсюда! — толкаю я Толика в грудь. — Не нравится ему! Тебя спросить забыли!

Тонька показывает ему язык. Он отходит в сторону, хмурый, с досады отвешивает затрепину маленькому пацану, попавшемуся под горячую руку.

Всё праздничное настроение во мне погасло. Я встречаюсь взглядом с Валею и понимаю, что она тоже чувствует себя неловко. А Тамара после Толиковой отповеди уже незаметно стёрла губы платочком. Одна Тонька скачет, нипочём ей, выбежала на круг и выкричала частушку:

— Меня милый не целует,

Говорит: потом, потом.

Прихожу, а он на печке

Тренируется с котом!

И в этот момент её хватает за шиворот главврач и, сердито выговаривая что-то, тащит к выходу из зала. Мы с Валею опережаем их и пулей несёмся в туалет — смывать «красоту». Через минуту туда же с рёвом влетает и Тонька.

— Заколебали-и-и! — воет она, умываясь. — Никакой жизни не даю-у-ут! Убегу-у-у к папе-е-э-э!

Жирная цыганская помада холодной водой смывается плохо, только размазывается. Приходится губы намыливать хозяйственным мылом, противно, плюем, Валею даже тошнит... Вот и погуляли.

— Ничего-о! — грозит Тонька кому-то сквозь стену. — Я знаю, как ему отомстить! И за себя! И за Соню!

Сидим, все три, на карачках, у стены туалета, растрёпанные, нахохлившись, мокрые и злые. Идти в зал уже не хочется, и мы убредаем в свою комнату. А там уже грустит в одиночестве Тамара, плачет. И всем нам хочется плакать. Падаем каждая на свою кровать и дружно завываем. Вот вам и день женской солидарности!

А за окном, по улицам, освещённым жёлтыми фонарями, гуляет гармошка и долго ещё слышится тягучая песня: «...парней так много холосты-ы-ых... а я люблю женатого-о-о...»

* * *

И снова весь интернат с самого утра на ухах. Наскоро одевшись, бежим на завтрак и видим в коридоре трёх милиционеров. Один сидит у окна, разложив бумаги на подоконнике, и пишет что-то. Двое других стоят, окружённые ребятами, а с ними Витька Колесов и главврач. И у Витьки на руках наручники! Милиционеры цепко держат его. Лицо у Витьки злое и одновременно растерянное.

— Колесов! — громко зовёт милиционер от окна. — Прочитай и подпиши!

Арестанта подводят к окну, освобождают правую руку от наручника, он, не глядя, подмахивает протокол, и все четверо выходят на улицу. Ребяшня и мы вместе с ними прилипаем к окнам. У крыльца стоит милицейский ГАЗик. Витьку заталкивают внутрь, захлопывают за ним дверцу, и машина уезжает по аллее, скрываясь за поворотом.

Оглушительный гвалт наполняет коридор. Мальчишки спорят, девчонки шепчутся. Долегают фразы: «...подрался с городскими...», «...в больнице умер...», «...посадят теперь...» И слышится вдруг над всем этим чей-то тихий неутешный плач. Я оглядываюсь вокруг и вижу в сторонке, на лавочке, старшеклассниц, среди них Вера Попова. Она плачет, низко склонив голову с туго заплетёнными толстыми косами, а подруги её утешают, как могут. У меня всё внутри сжимается от непоправимости и отчаяния.

— Я всё узнала! — врывается в мои чувства и мысли набежавшая из ниоткуда Тонька. — Пойдёмте быстрее в столовку, расскажу! А то тут орут все!

Мы быстро берём на раздаче тарелки с кашей, хлеб с маслом и чай. Занимаем стол на четверых и, автоматически глотая пищу, слушаем Тонькин рассказ.

После праздничного вечера Витька пошёл провожаться с девчонками в посёлок, рассчитывая попасть на танцы в Дом культуры. Раздобыли вина, выпили, но в ДК при-

шли к самому концу, их уже и пускать не хотели. Девчонки же как-то просочились на танцы и остались там. Колесов поскандалил на входе, и его вытолкали на улицу. Там он попросил закурить у проходивших мимо ребят, ну и, слово за слово, они сцепились. Дрался Витька один против пятерых, и когда его завалили, достал ножик и пырнул кого-то в живот. Пока вокруг раненого была кутерьма, Витька смылся в санаторий и спал себе спокойно. Того парня увезли на скорой в больницу, но под утро он умер. Теперь Витьке светит реальный срок и колония для несовершеннолетних.

— Сгубил свою жизнь молодую... — подвела суровый итог Тонька. — И Веркину жизнь загубил.

— А она вчера тоже с ними гуляла? — спросила Валя, допивая чай.

— Нет, они же так и не помирились. А теперь она убивается, мол, не надо было его вчера отпустить, — продолжала Тонька тоном мудрой старухи.

— Да и хорошо, что так! — трезво рассуждаю я. — Зачем ей такой бандит да бабник? Большая радость жить с драчуном да пьяницей. Я бы за такого век не пошла!

И мы все дружно, не сговариваясь, смотрим в сторону старшеклассниц. Они сидят за соседним столом и уговаривают бледную дрожащую Веру съесть хоть кусочек, хоть чаю выпить. Но какое там!

В школе нам никакие уроки на ум не идут. Всё шепчемся и получаем плохие отметки, замечания и неуды по поведению. И за весь день ни разу не увидели Веру ни на переменках, ни на обеде... А когда возвращаемся в интернат, у крыльца стоит скорая. И нас оглушает ещё одна новость: Вера отравилась! Снова весь санаторий взбудоражен. Девушку выносят на носилках и увозят в стационар. Она жива, но без сознания. Геннадий Петрович сам не свой, столько на него свалилось бед сразу. На стенде около актового зала, где вешают все объявления и приказы, появляется листок с распоряжением, запрещающим с этого дня покидать территорию и ходить в посёлок без уважительной причины. Накрылись медным тазом наши прогулки, пряники, конфеты и кино! Сидите теперь в четырёх стенах и скучайте! И всё из-за этого Витьки!

Еле дожили мы до вечера этого суматошного дня! Уроки сделаны. Валя с Тамарой берутся за вязание — одна учит другую, а я бездельно плюхаюсь на кровать. Тонька вдруг молча усаживается за стол. Перед ней пачка разорванных на четвертинки тетрадных листочков и несколько цветных карандашей. Она берёт бумагу, выводит на ней буквы, потом что-то ещё рисует карандашом, сворачивает и откладывает. Даже язык высунула от напряжения.

— Чего ты там такое пишешь? — спрашиваю я, сгорая от любопытства.

Тонька молчит, не обращая на меня никакого внимания, но когда я подхожу к столу, прячет все листочки, закрывает руками.

— Не покажу!

— Чо, жалко, что ли? — фыркаю я. — Больно надо! — плюхаюсь обратно на кровать и добавляю оттуда: — И не проси больше, чтобы я тебе уроки помогла сделать!

Но даже эта угроза на Тоньку не действует.

— Ну и не надо, — парирует она спокойно. — Мне Валя поможет. Или Тамара... Да? Тамара?

Но девчонки смотрят на затихарившуюся Тоньку подозрительно. Не к добру все эти тайны. Не сговариваясь, окружаем хитрую подружку, минута борьбы, писка, сопения, и Тонькины творения оказываются у нас. На листочках прыгающими цветными буквами выведено: «Жена гулящая — беда настоящая!» Под этим нарисованы два корявых целующихся голубка, а ещё два пронзённых стрелой красных сердца.

— Заразы-ы! — воет Тонька. — Отда-айте!

— И куда ты это хотела? — строго спрашивает Валя.

— Я расклею везде! Раскидаю! Пусть все знают! — орёт зарёванная девчонка, вытирая под носом рукавом.

— Ты совсем чокнулась? — нападаю я на неё. — Какое твоё дело?!

— А, Танечкинская, сама же говорила, что их надо наказать! Чтобы всё по-честному! Чтобы правда!

— Не ври! Ты это сама придумала! За то, что он тебя отправил помаду смывать!

— Тоня, тебя же выгонят... — испуганно вставляет Тамара.

— Пусть только попробуют! — хорохорится Тонька. — Это же правда! Все и так знают!

— Если все «и так знают», зачем же эти твои мерзкие записочки? — укоряет её Валя. — Разве тебе ни капельки не жалко Геннадия Петровича? Он же несчастный человек.

Тонька надулась и сопит обиженно, ещё бубнит себе что-то под нос, но аргументы, видимо, закончились. Мы собираем её «творчество», кидаем в печку, на красные горячие угли, все до единого листочка. У всех портится настроение, даже разговаривать не

хочется.

Вскоре приходит истопник, шурует в печке кочергой и закрывает заслонку. Улетели записочки с дымом в трубу. Можно ложиться спать. Забираемся под одеяла и думаем каждая о своём. Не шутим и не смеёмся, не травим историй и страшилок, как обычно. Все просто устали.

Ну и денёк!

* * *

Наступили весенние каникулы. Но бабушка за мной, как обещала мама, так и не приехала. Мы с Тонькой остались в нашей комнате одни. Валя и Тамара каникулы проводят дома, с мамой и папой. Хорошо им. В санатории пусто, тихо. Таких, как мы, неприкаянных, человек десять.

По вечерам, лёжа в постели, я часто плачу от обиды и одиночества. Тонька меня жалеет, как умеет. Садится рядом, гладит по голове, рассказывает свои небылицы.

Мне странно, что тётя Маша теперь почти не заходит к нам в палату, не зовёт меня в гости. Когда мы встречаемся в коридоре, она грустно смотрит на меня, гладит по голове, спрашивает о делах. Но что я могу ответить, кроме «нормально»? Я вижу какую-то перемену в её отношении ко мне, и от этого моё доверие, моё тёплое чувство к этой женщине словно прячется глубоко внутрь. Спросить напрямую я не смею, но предполагаю, что мама пожаловалась и главврач, который и так не одобрял особого отношения ко мне со стороны тётки Маши, запретил ей «приваживать ребёнка». Я слышала как-то от него такую фразу, но тогда не поняла, что она относится ко мне. А сейчас знаю наверняка.

В посёлок теперь пойти нельзя, поэтому гуляем только на территории вокруг санатория, огороженной забором. Тут каждый угол изучен до мельчайших подробностей. Скучно. Но Тонька была бы не Тонька, если бы не придумала развлечение. За главным двухэтажным корпусом расположен низенький флигелёк-прачечная, там нянечки стирают, сушат и гладят постельное бельё, халаты персонала, скатерти для столовой, ну и всякие другие хозяйственные мелочи. За зиму флигелёк завалило по самую крышу, да ещё дворник, сгребая снег, подкидывал и подкидывал к его стене. И получилась настоящая горка! Высокая, крепкая. Днём она подтаивает, а ночью снова смерзается, так, что и поливать специально не нужно. И мы, раздобыв по фанерке, катаемся с неё, визжим, хохочем. Тут же в куче с нами и другие ребята. Уже через день на визг и шум через забор заглядывают поселковые мальчишки, перелезают на территорию и катаются с горки вместе с нами, самые смелые прыгают с крыши в колючий сугроб, барахтаются в талом снегу. Дворник пытается гонять нас. Да где там! Как только он удаляется, мы тут как тут! По домам расходимся мокрые по уши. Пальто и валенки не успевают за ночь просохнуть даже на печке. Чтобы ногам было не так сыро и холодно, я натакиваю в валенки старые рваные чулки вместо стелек. Ходить так неудобно, но зато тепло. Чулки сбиваются в комок под пяткой, и я вышагиваю, словно на каблуках. Все говорят, что я подросла, а я не раскрываю секрета!

Но на третий день наших забав случается беда. Заноза-Тонька поспорила с парнями, что запросто съедет с крыши флигеля, с самой его верхотуры, на фанерке, как с горки, и, разогнавшись, улетит дальше всех. Отговаривать бесполезно, мальчишки дразнятся, подзадоривают отчаянную девчонку. И вот Тонька сидит на фанерке у самой кирпичной трубы флигеля, лицо её сосредоточено, губы плотно сжаты. Она отпускает руки, катится к краю крыши, взлетает на секунду и... приземляется за сугробами на высокий бетонный поребрик клумбы. Тоненький крик её взлетает к небу, а когда мы подбегаем, Тонька катается в грязном снегу, держась за левую ногу и причитая: «Мамочки... ой, мамочки...»

Уже к вечеру по приказу главврача наша горка раскидана тонким слоем по территории. Тоньку привозят из травмпункта тоже вечером. Она заскакивает на костылях в палату, неся загипсованную ногу впереди себя, и улыбается во весь рот.

— Простой перелом! — сообщает она. — До свадьбы заживёт!

— До какой? Я замуж вообще не пойду! — говорю вдруг.

— Я, что ли, собираюсь? — весело отвечает Тонька и неумело присаживается на кровать, костыли ей мешают. — А интересно в этом трав... трав... блин, как его! В пункте этом! Кто с чем. Одному пацану бровь зашивали. Он так орал! А ещё мужика собака покусала. Рука — вот такенская! Кровища! Женщина там ещё... упала и руку сломала. В общем, полно трав... трав-ми-ро-ванных. Во! Выговорила! Хирург мне велел больше с крыш не ездить! Ха! Спрашивать буду!

Поток Тонькиных словес вдруг резко иссякает. Она вытягивается на кровати, тоскливо скрипнувшей пружинами, пристраивает рядом костыль.

— Эх, Танька, а ведь меня скоро заберут... — добавляет она вдруг печально.

— Как это? — подсказываю я на постели.
 — Как, как... об косяк... пожаловался ведь... позвонил моим. Сказал, хватит ему приключений. То Витька, то Вера, то я.
 — Так это же хорошо! Чего ты хнычешь? Домой поедешь!
 Тонька совсем сникает, отворачивается к стене. Худенькие плечики её подрагивают. Я присаживаюсь рядом и жалею непутевую девчонку:
 — Не реви! Папа за тобой приедет! Ты же сама хотела.
 — Ага... папа... — всхлипывает Тонька, — приедет...
 — Зеленина! К телефону! — врывается вдруг в нашу палату мальчишка.
 Меня? К телефону?! В волнении бегу за пацаном до кабинета старшей медсестры, беру трубку.
 — Таня? Танечка? Это бабушка...
 — Бабушка! — кричу я, задохнувшись от счастья. — Бабушка! Почему ты не приехала? Бабушка, милая, заberi меня отсюда! Пожалуйста-а-а!!!
 И я вдруг реву в голос, заикаясь и давясь, почти не слыша, что говорит мне родной человек. А бабушка извиняется, объясняет, что сама приболела, что сейчас подлечится и приедет ко мне в середине апреля. Совсем немного подождать нужно. Всего две недели. Бабушка спрашивает, как я закончила четверть. Хвастаться нечем. Терпеливо выслушиваю нотации. И снова повторяю в трубку:
 — Заberi меня отсюда! Миленькая, заberi поскорее!..

* * *

За Тонькой приехали в последний день каникул, когда и Валя, и Тамара уже вернулись. И не чёрная директорская «Волга» стоит у крыльца санатория, а синий носатый автобус, на боку которого написано «Детский дом №6». И не высокий красивый папа забирает нашу выдумщицу и забияку, а две сердитые тётки. Одна из них выносит потёртый фанерный чемоданчик с Тонькиными вещами, а вторая помогает воспитаннице спуститься с крыльца и залезть в автобус. Тонька с трудом усаживается на сиденье у окна и молча, не улыбаясь, смотрит на нас. Она вдруг очень повзрослела, черты лица заострились, сделались твёрже, упряме.

Мы втроём стоим и растерянно следим за происходящим. Мы не знаем, что сказать. Тонька врала нам всё это время. И мы предполагали, догадывались, что все эти байки про счастливую семью и весёлого сильного папу, про большую светлую квартиру с балконом, про личную машину, про аквариум с рыбками и поездки в Крым — всего лишь Тонькины бурные фантазии. Но мы и подумать не могли, что Тонька круглая сирота, что с малолетства она живёт в детском доме, что у неё никого нет в этом мире! Ни родителей, ни бабушки или дедушки, ни братьев, ни сестёр. Вообще никого! И вот сейчас она сидит в холодном автобусе, воспитательница что-то резко выговаривает ей, а её взгляд остановился. Весь придуманный мир, в котором она прожила эти полгода, рассказывая нам и веря в него через эти свои выдумки, не просто рухнул, а рухнул с позором. Тонька, конечно, надеялась, что мы никогда не узнаем, кто она на самом деле — простая детдомовская девчонка. Она хотела запомниться нам особенной, удивительной, неповторимой. А кого запомним мы? Врушку и грязнулю?.. Поэтому она так колко, так холодно смотрит на нас сейчас, поэтому не говорит нам «до свидания», не оставляет адреса...

Двери автобуса захлопываются, и он уезжает и увозит нашу Тоньку, оставив лишь облако вонючего дыма после себя.

В нашу палату никого больше не поделяют, и мы живем втроём. Без вредной Тоньки в ней становится словно пусто. Валя с Тамарой сделались совсем тихие — вяжут, аккуратно выполняют домашнее задание, читают. Я или рисую, или слоняюсь по заданию и двору без дела. И вообще в санатории какое-то затишье. Ничего не происходит. Совсем. Даже весна вдруг застыла — серое небо, серые деревья, серый талый снег. Солнца нет, на лужах лёд. День расписан по часам, и один похож на другой, как близнецы друг на друга.

Этот день с утра тоже начинается как обычно: подъём, процедуры, завтрак и — в школу. Но во время второго урока вдруг оживает школьная радиоточка, сквозь шорохи и треск слышатся позывные всесоюзного радио, а затем торжественный голос Левитана. Пожилая учительница русского языка бледнеет, обессилено падает на свой стул и шепчет растерянно: «Война?.. Опять война?..»

Но голос Левитана сообщает: «Московское время десять часов две минуты. Передаём сообщение ТАСС о первом в мире полёте человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Со-

циалистических республик лётчик майор Гагарин Юрий Алексеевич...»

В этот миг вся школа наполняется криком «Ура-а-а!» и топотом бегущих ног. Это мальчишки, не в силах сдерживать свой восторг, хлынули в коридоры из тесных душевных классов. И ничего уже нельзя услышать и разобрать из слов Левитана. И учиться в этом счастливом хаосе совершенно невозможно. А потому все выскакивают в коридор под неурочный треск школьного звонка и обнимаются, и плачут, и кричат: «Ура! Мы первые! Ура Гагарину!» И учителя, и ученики, и старшеклассники, и мелюзга путается под ногами. Вся эта весёлая суматоха захватывает нас в единый поток и выносит на улицу. А там весна, солнце, ручьи. Кричат птицы, орут мальчишки, визжат девчонки, редкие машины сигналият. Простые прохожие, встретившись, сообщают друг другу новость и обнимаются, словно родные. Голова кругом!

На меня вдруг насккивает Толик, хватая за руки и кружит, и кричит:

— Таня! Таня! Я тоже буду космонавтом! Я тоже полечу в космос!

— Отпусти! — умоляю в ответ. — Я сейчас упаду!

Сажусь на снег, голова кругом по-настоящему, даже тошнит немного.

— Э-эх, — вздыхает Толик, — а тебя не возьмут. Ты центрифугу не выдержишь. Там ещё не так раскрутят! Тем более, ты девчонка!

Толик вдруг фыркает презрительно и срывается с места, догонять возбуждённую ватагу мальчишек. Мне обидно до слёз, и я кидаю ему в спину ледышку, но промахиваюсь.

Девочки помогают мне подняться, отряхивают пальто.

— А вот увидите, — выговариваю я им, ни в чём не виноватым, — скоро женщина тоже в космос полетит. Могу поспорить!

В санатории кутерьма продолжается до позднего вечера. К ужину всем выдают дополнительно по творожной ватрушке. А потом, до глубокой ночи, во всех палатах разговоры, споры, мечты...

— Вот теперь мы точно узнаем — есть Бог или нет! — возбуждённо говорю я девчонкам. — Ведь если Гагарин летал в космос, он должен был его увидеть! Там! На небесах!

— Мой дедушка рассказывал, как они после революции кресты с церковью сбивали, колокола на переплавку отправляли, иконы жгли, — начинает вдруг молчаливая Тамара. — И никакая кара на них не пришла. Значит, нет там никого! Иначе наказал бы...

— Вот привязались к этому Богу, — ворчит Валя, — Гагарину больше делать нечего! Я вот всё думаю, как это он не побоялся? Один! В космос! Там же только темнота и холод. А если бы погиб? Настоящий герой! Я бы влюбилась в такого...

— Я бы тоже... — выдыхаем мы с Тамарой.

— Если у меня когда-нибудь родится сын, я обязательно назову его Юрой! — торжественно клянётся Валя.

— А я во сне часто летаю, — сообщаю я таинственно, — среди облаков! Хотя и крыльев нет. Просто взлетаю и парю! К чему это, а?

— Растёшь, значит, — со знанием дела объясняет Тамара. — А мне вообще сны не снятся. Может, два раза в жизни. И оба раза страшные...

— Скоро до Луны долетим, до Марса и узнаем — есть ли там жизнь. Будем переписываться с марсианскими ребятами! — смеюсь я.

— А когда-нибудь... представляете?.. — восторженно шепчет Валя, — откроют целые трассы между планетами, доступные каждому. Ракеты будут летать по расписанию, как обычные трамваи. И люди, хоть ребёнок, хоть бабушка, просто сядут и поедут, то есть полетят, на Луну за лунными помидорами или на Венеру за какими-нибудь венерианскими пельменями!

Валя сама прыскает со смеху над своими фантазиями. И мы с Тамарой дружно хохочем.

— Придумаешь тоже! За пельменями! На экскурсии будут ездить. Любоваться космическими пейзажами. Или за полезными ископаемыми.

— За драгоценными камнями, — мечтает Тамара, — есть ведь такой — лунный камень. Я слышала. Где же его добывают сейчас? Может, он к нам, на Землю, вместе с кометами падает, а геологи его ищут...

— И встретимся мы потом с вами, девчонки, где-нибудь в лунном кафе и выпьем за встречу кофе из лунной пыли...

— Фу! Скажешь тоже... Лучше уж съедим мороженое из марсианского льда...

— Или...

— Или...

Мы ещё долго придумываем счастливое космическое будущее, постепенно погружаясь в сон, как в мечту. И, конечно, в эту ночь я снова летаю во сне, так легко, так гибко, так плавно, словно и тела нет, словно я маленькая птичка, воробушек. Я подни-

маюсь до облаков, а потом всё выше, выше. Преодолеваю атмосферу и оказываюсь в невесомости. Я в космосе! Здесь всё пропитано светом, ослепительным солнечным светом. Почему считается, что в космосе темно? Посмотрите! Совсем наоборот! Космос — это сплошной свет!

* * *

Прямо в сорочке и валенках на босу ногу я лечу по коридору навстречу радости. Бабушка приехала! Падаю в родные объятия, и сердце колотится в горле, и слёзы льются рекой. В них и счастье, и обида, и жалоба, и нежность. Бабушка вытирает солёные ручейки с моих щёк шершавыми руками. От неё пахнет дымом, пирогами, жареным луком.

— Да что ж ты в одной рубашке-то?! — восклицает бабушка и тут же накидывает мне на плечи свой серый шерстяной платок. — Пошли-ка, пошли-ка скорей!

Я улыбаюсь, тяну бабушку за руку к нашей палате. Пусть завидуют все встреченные в коридоре ребята, вот они, бредут в холодный умывальник, а я, может быть, даже в школу сегодня не пойду.

— А чего это ты скачешь, как коза? — спрашивает бабушка, заметив мою странную, прыгающую погодуку.

— Да это так... — отмахиваюсь я.

— Худющая вся, бледная, аж зелёная какая-то!

— Так я же Зеленина! — смеюсь в ответ.

В палате бабушка вываливает на стол конфеты, печенье, свои маленькие румяные пирожки, яблоки, ставит банку малинового варенья.

— Налетайте, девчонки, не стесняйтесь! — и сама берёт по яблоку и суёт Вале и Тамаре в руки. — А ну-ка, снимите валенки, — велит она мне. Я стаскиваю стоптанную обувку, подаю бабушке, и она охает, вынимая из них скомканные чулки. — Это что у тебя? Это зачем?.. Платье рваное... Волосы... Господи! Ты хоть расчёсываешься?.. А ногти! Таня! Стыдно как... Такие ногти у девочки на руках... А на ногах! Ты ещё за половицы ими не зацепляешься?.. Да что же тут за вами не следят совсем?

Бабушка хмурится. Потом подходит к Вале, к Тамаре. Осматривает их одежду, руки, перебирает волосы на голове. И вдруг решительно выходит из нашей комнаты. Я, ничего не поняв, вылетаю следом. Но нахожу бабушку не сразу, а только поднявшись на второй этаж, слышу её громкий возмущённый голос, доносящийся из кабинета главврача:

— ...дети заброшены! Кожа да кости. Это у вас такое лечение? Это так здесь внучку мою лечат?

Молодец, бабушка! Сразу видно — завуч! Голос строгий, командный. Наведёт сейчас шухеру. Но Геннадий Петрович не так прост.

— А вы бы ещё реже приезжали! — грубо одёргивает он её. — У нас тут не дом малютки, чтобы к каждому нянечку приставить!

— Все взрослые люди! Все работают! А вам доверили детей, больных детей! На полное государственное обеспечение!

— А не нужно всё на врачей валить! На каникулы дети должны отправляться домой, а у меня каждый раз их человек десять здесь болтаются. Где их родители, спрашивается? А потом приезжают и права качают... Мне их, между прочим, три раза в день кормить чем-то надо! А то, что они — как беспризорники, так это ваша вина... Воспитывайте! Учите! Не я же им чулки должен штопать!

— Воспитаем, не беспокойтесь! И заштопаем, что надо. И вылечим сами, без вашей помощи! Я внучку забираю. Подготовьте документы. Электричка через два часа, вот чтоб все выписки, все справки были к этому времени.

— Да хоть сейчас! Под вашу ответственность! Под расписку!

Бабушка выходит из кабинета так стремительно, что я не успеваю спрятаться и смотрю на неё растерянно.

— Не стыдно подслушивать? — говорит она совершенно беззлобно. — Иди соберай вещи свои, с девочками попрощайся.

— Мы к тебе поедem жить? — спрашиваю я, подпрыгивая от радости на ходу.

— Ну а куда ещё? — отвечает бабушка, напряжённо размышляя о чём-то своём. — Но не думай, что будешь дурочку валять. В нашу школу пойдёшь и четверть окончишь. И только попробуй мне троек нахватать! Опозорь только бабушку.

Тётя Маша моет коридор, распрямляется, растерянно смотрит на меня — словно уже знает. Я подхожу к ней вплотную, и мне почему-то становится стыдно. Как будто я их всех предаю. Хочу обнять и не могу.

— А я с бабушкой уезжаю! — говорю с напускным весельем.

— Ну что ж, — произносит она мягко и привычно кладёт тёплую ладонь мне на го-

лову, — не забывай нас. Может, открыточку когда нам с дедом пришлѐшь.

Она говорит это спокойно, ровно, а мне хочется провалиться сквозь землю. Выскальзываю из-под её ладони и, убегая, кричу:

— Ладно! Обязательно!

Девочки тоже растеряны. Так неожиданно!

— Можно мы тебя до станции проводим? — спрашивает Валя.

— Так ведь заругают? — теряюсь я.

— Ничего. Мы осторожно.

Они помогают мне укладывать вещи, постоянно переспрашивая, взяла ли я бельѐ, халат, зубную щетку... Я оставляю им чистые тетради, карандаши, прошу сдать в школьную библиотеку мои учебники. Валя аккуратным почерком выводит на листочке свой и Тамарин адрес, протягивает мне. Мы договариваемся писать друг другу письма каждую неделю! Мы обнимаемся. Мы плачем и клянемся никогда не забывать.

Милые детские клятвы...

Через час мы с бабушкой уже сидим в электричке. Я уезжаю и не знаю, что этот учебный год, проведѐнный не дома, останется в моей памяти на всю жизнь одним из самых ярких воспоминаний детства. Цыганка Соня, хулиган Витька, скромная Вера, вредная Тонька, тихая Валя, неповоротливая Тамара, ласковая тѣтя Маша и весѐлый дядя Ваня, верный друг Толик... вот они были, и больше их никогда не будет. Никогда... Но о чѐм или о ком я могу жалеть в свои двенадцать лет, когда впереди целая огромная интересная жизнь? Прилипнув к вагонному окну, я смотрю, как сиротливо стоят на перроне две мои подружки, машу им рукой, а мыслями уже далеко, уже мечтаю о каникулах, о летнем лесе, о тѐплой речке. Бабушка действительно вылечит раз и навсегда затемнение в моих лѐгких, сделав по народному рецепту лекарство, где основными ингредиентами будут столетник с мѐдом. Такое простое, доступное средство победит все уколы, таблетки, прогревания, которыми нас пичкали в санатории. Но, конечно, выздороветь я не столько от этого снадобья, сколько благодаря заботе и любви родного человека...

Осенью мама заберѐт меня от бабушки в новую, беспокойную и не самую счастливую нашу семью. Я стану водиться с сестрой, помогать по дому, отчим — простой работага, выпивоха, будет относиться ко мне хорошо, но заменить папу в полной мере так и не сможет. Мне всю жизнь будет недоставать маминого тепла, любви, внимания и душевности. Уважаемый в городе человек, занятая, строгая, требовательная, она, как и все советские женщины, умела быть самоотверженной, стойкой перед трудностями, верной идеям коммунизма... Потом, став совсем взрослой, я узнаю, что лѐгочные болезни часто являются следствием длительной неутолимой тоски, и тоска эта по матери, по её любви и нежности. Бедные наши мамы. Их не учили быть женщинами, не учили любить и быть любимыми. Не учили быть счастливыми... А они не могли научить нас.

Столетник с мѐдом, горечь со сладостью — это вся наша жизнь. Волшебное снадобье, способное лечить любые душевные смуты и затемнения сладкими воспоминаниями детства. Не жалей, жизнь, сладости! Побольше мѐду! Побольше!